

Габриэль  
Гарсиа Маркес



Нобелевская  
премия

Я здесь не для того,  
чтобы говорить речи



## Annotation

Габриэль Гарсиа Маркес НЕ УМЕЕТ произносить речи — и предупреждает об этом читателя.

Видимо, именно поэтому каждая речь великого колумбийца превращается в произведение искусства, где автобиография смешивается с фантазией, а философия — с публицистикой.

«Я здесь не для того, чтобы говорить речи» — название этой книги говорит само за себя.

Перед читателем — нечто, совершенно противоположное самой идее обращения к аудитории. Очень интимное, личное и завораживающее.

Итак: Габриэль Гарсиа Маркес — о времени, искусстве и о себе.

---

- [Габриэль Гарсиа Маркес](#)
  - [Академия долга](#)
  - [Как я начал писать](#)
  - [Ради вас](#)
  - [Другая родина](#)
  - [Одиночество Латинской Америки](#)
  - [Тост за поэзию](#)
  - [Слова для нового тысячелетия](#)
  - [Дамоклов катаклизм](#)
  - [Непобедимая идея](#)
  - [Предисловие к новому тысячелетию](#)
  - [Меня здесь нет](#)
  - [В честь Белисарио Бетанкура по случаю его семидесятилетия](#)
  - [Мой друг Мутис](#)
  - [Аргентинец, ставший всеобщей любовью](#)
  - [Латинская Америка существует](#)
  - [Иная сущность в ином мире](#)
  - [Журналистика — лучшая в мире профессия](#)
  - [Бутылку — в море, для бога слов](#)
  - [Иллюзии для XXI века](#)
  - [Любимая, хотя и далекая родина](#)
  - [Душа, открытая речам на испанском](#)
  - [Заметки о выступлениях Г. Гарсиа Маркеса](#)
  -

- 
- [notes](#)
  - [1](#)

---

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

**Габриэль Гарсиа Маркес**

**Я здесь не для того, чтобы говорить речи**

## Академия долга

*Сипакира, Колумбия, 17 ноября 1944 г.*

Обычно на всех подобных собраниях общественности выбирают или назначают человека, которому предстоит произнести речь. Этот человек находит наиболее подходящую тему и развивает ее перед присутствующими. Но я сюда пришел не произносить речь. Я мог бы выбрать для сегодняшнего собрания благородную и возвышенную тему дружбы. Но что я сумел бы сказать вам нового об этом? Я мог бы исписать множество страниц разными историями и мнениями, но в конце концов это не привело бы меня к тому, что я хочу сказать. Пусть каждый из вас проанализирует свои собственные, личные чувства, обдумает одну за другой причины, по которым вы ощущаете это ни с чем не сравнимое влечение к человеку, с которым вас связывает самая тесная дружба, и тогда вы сможете понять смысл этого собрания.

Вся цепь ежедневных событий, объединившая нас всех неразрывными узами с группой молодых людей, начинающих свой самостоятельный путь в жизни, и есть не что иное, как дружба. И это то, что я хотел вам сегодня сказать. Но повторяю, я пришел не для того, чтобы произносить речь; я всего лишь хочу назначить вас судьями справедливости на этом процессе, чтобы затем пригласить на печальное и в то же время знаменательное событие — прощание со студенчеством сего замечательного учебного заведения.

Здесь с нами готовы к отбытию Энри Санчес, симпатичный д'Артаньян атлетики, с тремя мушкетерами Хорхе Фахардо, Аугусто Лондоньо и Эрнандо Родригесом. С нами Рафаэль Куэнка и Николас Рейес, его тень. Здесь с нами Рикардо Гонсалес, великий рыцарь пробирки для опытов, и Альфредо Гарсиа Ромеро, объявленный опасным типом в области всех дискуссий: они вместе, и их жизнь уже стала образцом истинной дружбы. С нами Хулио Вильяфанье и Родриго Рестрепо, члены нашего парламента и наши журналисты. Здесь Мигель Анхель Лосано и Гильермо Рубио, апостолы точности. С нами Умберто Хаймес и Мануэль Арена, Самуэль Уэртас и Эрнесто Мартинес, посланники просвещения и доброй воли. Здесь Альваро Нивия со своим умным юмором. С нами Хайме Фонсека, Эктор Куэльяр и Альфредо Агирре, три не похожих друг на друга личности и один истинный идеал: победа. Здесь Карлос Агирре и Карлос

Альварадо, их объединяет имя и желание стать гордостью родины. С нами Альваро Бакеро, Рамиро Карденас и Хайме Монтойя, неразлучные друзья книг. И наконец, здесь Хулио Сесар Моралес и Гильермо Санчес, словно два живых столпа, на чьих плечах лежит ответственность за мои слова, когда я говорю, что всей этой группе юношей-выпускников предназначено надолго остаться на лучших дагеротипах Колумбии.

Сейчас, когда вы слышали о качествах каждого из них, я хочу вынести вердикт, который вы как судьи справедливости должны принять: от имени Национального лица и всего общества я объявляю эту группу молодых людей, говоря словами Цицерона, действительными членами академии долга и гражданами разума.

Достопочтенная аудитория, процесс завершен.

## Как я начал писать

*Каракас, Венесуэла, 3 мая 1970 г.*

Прежде всего я хотел бы попросить прощения за то, что выступаю сидя, ведь если я встану, то рискую упасть от страха. Это правда. Я всегда думал, что пять последних, самых ужасных минут в жизни я проведу в самолете в обществе двадцати — тридцати человек, а не перед двумястами друзьями, как здесь. К счастью, то, что здесь сейчас происходит, позволяет мне начать говорить о моей литературе — я ведь порой грешным делом думал, что стал писателем так же, как поднялся на эту трибуну: поневоле. Признаюсь, я сделал все возможное, чтобы не прийти на это собрание: пытался заболеть, схватить воспаление легких, пошел к парикмахеру в надежде, что он отрежет мне голову... И наконец, я додумался прийти сюда без пиджака и без галстука в надежде, что меня не пустят на столь официальное заседание. Но я не учел, что нахожусь в Венесуэле, где всюду можно появиться просто в рубашке. И вот результат: я здесь, но не знаю, с чего начать. Впрочем, я могу рассказать вам, как я начал писать.

Мне никогда и в голову не приходило, что я мог бы стать писателем, но в мои студенческие годы Эдуардо Саламеа Борда, редактор литературного приложения газеты «Эль Эспектадор» в Боготе, опубликовал заметку, где говорилось, что новые поколения писателей ничего не могут предложить, что не видно нового рассказчика или романиста. В заключение он утверждал, что его упрекают за то, что он печатает в своей газете лишь известные работы именитых писателей, но совсем обходит молодых, на что отвечал, что просто нет хорошо пишущих молодых людей.

Тогда меня охватило чувство солидарности с ровесниками, и я решил написать рассказ только лишь для того, чтобы заткнуть рот Эдуардо Саламеа Борда, который был моим хорошим другом или по крайней мере с тех пор стал моим другом. Я сел, написал рассказ и отправил его в «Эль Эспектадор». Второй раз меня охватил страх в следующее воскресенье, когда я случайно открыл газету и увидел свой рассказ на целую полосу, а рядом заметку, в которой Эдуардо Саламеа Борда признавал свою ошибку, потому что «этот рассказ возвестил о появлении гения в колумбийской литературе».

На этот раз я действительно плохо себя почувствовал и подумал: в какую же неприятную историю я вляпался! Что мне теперь делать, чтобы

не подвести Эдуардо Саламеа Борда? Продолжать писать, ответил я себе.

У меня всегда была проблема с темами: я был вынужден искать историю, чтобы рассказать ее. И это позволяет мне открыть вам кое-что, в чем я убедился лишь теперь, когда опубликовал уже пять книг: ремесло писателя, пожалуй, единственное, которое становится все более сложным по мере того, как им овладеваешь. Легкость, с которой я однажды вечером уселся писать тот первый рассказ, нельзя сравнить с тем, сколько трудов мне стоит сейчас написать всего лишь одну страницу. Что касается моего метода работы, то он вполне соответствует тому, о чем я сейчас говорю. Я никогда не знаю, ни сколько я напишу, ни о чем напишу. Я жду, пока мне что-то не придет в голову, и когда ко мне приходит идея, которую я сочту достойной бумаги, я начинаю прокручивать ее в голове, чтобы она созрела. Когда это заканчивается (а иногда проходит много лет, как в случае с книгой «Сто лет одиночества», которую я обдумывал девятнадцать лет), я повторяю: вот я и обдумал идею, я сажусь записывать ее — тут-то и начинается самая трудная и скучная часть работы. Потому что наиболее упоительный момент — это когда история только зарождается в тебе, ты придаешь ей форму, изменяя ее неоднократно, так что когда ты садишься писать, она уже не очень-то интересует, по крайней мере меня.

Я расскажу вам, например, об идее, которая вертится у меня в голове много лет, и я подозреваю, что она уже почти нашла свою форму. Я расскажу о ней сейчас, потому что наверняка, когда я начну об этом писать, то не знаю, в какой момент вы обнаружите, что она стала совершенно другой, и в какой момент увидите, в какую сторону она эволюционировала. Представьте небольшой городок, где живет старая сеньора с двумя детьми: сыном 17 лет и дочерью 14 лет. Она подает детям завтрак, и они замечают, что у нее очень озабоченное выражение лица. Дети спрашивают ее, что случилось, и она отвечает: «Не знаю, но я проснулась с мыслью, что с нашим городком произойдет что-то страшное».

Они смеются над ней, говорят, это старушечьи предчувствия, бывает такое. Сын уходит играть на бильярде, и в тот момент, когда он собирается сделать простейший карамболь, противник говорит ему: «Спорим на один песо, что ты попадешь». Все смеются, и он смеется, делает карамболь и не попадает. Противник платит один песо и спрашивает у него: «Но что произошло, ведь это же такой простой карамболь?» Он говорит: «Верно, но я был очень озабочен одной вещью, которую мне сказала моя мама этим утром: с нашим городком произойдет что-то страшное». Все смеются над ним, а он возвращается с выигранным песо домой, где его ждут мама и то ли двоюродная сестра, то ли внучка, то ли еще какая-то родственница. Он



счастлив, что выиграл песо, и говорит: «Я запросто выиграл этот песо у Дамасо, потому что он глупец». «А почему он глупец?» «Потому что я не смог сделать простейший карамболь, — отвечает он, — будучи озабоченным тем, что моя мама сегодня проснулась с мыслью, что с нашим городком произойдет что-то страшное».

И тогда мама говорит ему: «Не насмехайся над предчувствиями стариков, иногда они сбываются». Родственница слышит это и идет за мясом. Она говорит мяснику: «Мне нужен фунт мяса» — и в тот момент, когда он начинает отрезать кусок, добавляет: «Лучше дай мне два, потому что говорят, что произойдет что-то страшное и лучше быть ко всему готовым». Мясник взвешивает мясо, а когда приходит другая сеньора купить фунт мяса, он говорит ей: «Берите два, потому что приходившие сюда люди говорят, что произойдет что-то страшное, так что они готовятся и закупают все впрок».

Тогда старуха говорит: «У меня несколько детей, дай мне лучше четыре фунта». Она уходит с четырьмя фунтами, и чтобы рассказ не затянулся, скажу вам, что у мясника за полчаса кончилось мясо, он убивает еще одну корову, продает ее, и слух ширится и ползет дальше. Настает момент, когда все в городке ждут, что что-то произойдет. Вся деятельность парализована. В два часа дня как всегда жара. Кто-то говорит: «Вы видите, какая жара?» «Но в нашем городе всегда было жарко. Так жарко, что у всех музыкантов городка инструменты всегда были обшиты брезентом и играли они всегда в тени, потому что на солнце инструменты просто рассыпались на куски». — «И все же, — говорит кто-то, — в этот час никогда не было так жарко». В пустынный городок, на пустынную площадь вдруг прилетает птичка, и ползет слух: «На площади птичка». И все прибегают, испуганные, посмотреть на птичку.

«Но, сеньоры, сюда всегда прилетали птички». «Да, но не в этот час». Настает момент, когда жители доходят до такого состояния, что отчаянно хотят покинуть городок, но не решаются. «Я мачо! — кричит один из них. — И я ухожу». Он хватает свою мебель, детей, животных, грузит их в повозку и пересекает центральную улицу, где его видят жители городка. Они смотрят на него и говорят: «Если он решился уехать, то и мы уедем» — и начинают буквально на части разбирать весь городок. Они увозят свои вещи, животных, все подряд. Один из последних жителей, покидающих городок, говорит: «Да не обрушится несчастье на то, что осталось от нашего дома» — и поджигает свой дом, и другие тоже поджигают свои дома. Они убегают в ужасной панике, словно это исход во время войны, среди них сеньора, которой было предзнаменование, и она причитает: «Я

говорила, что произойдет что-то страшное, а мне сказали, что я сошла с ума».

## Ради вас

*Каракас, Венесуэла, 2 августа 1972 г.*

Сейчас, когда мы одни, среди друзей, я хотел бы попросить о вашем соучастии и сочувствии, чтобы вы помогли мне смягчить воспоминания о том первом в моей жизни вечере, когда я, будучи в здравом уме и твердой памяти, явился собственной персоной, чтобы совершить две вещи, которые обещал себе никогда и ни при каких условиях не совершать: получить премию и произнести речь.

В противовес другим весьма уважаемым мною мнениям, я всегда был уверен в том, что мы, писатели, приходим в этот мир не для того, чтобы быть коронованными, ведь большинство из вас знает, что публичные почести — это начало бальзамирования. Я всегда полагал, что в конечном счете мы становимся писателями не из-за своих собственных заслуг, а по несчастью, просто потому, что не умеем делать что-либо другое, и наша затворническая работа не должна заслуживать больших вознаграждений и привилегий, чем их заслуживает за свой труд, например, сапожник, тачающий сапоги. Однако не думайте, что я пришел извиняться за свой приход или пытаюсь принизить награду, которой меня сегодня удостоивают и которая носит столь подходящее имя великого незабываемого писателя Америки. Напротив, я пришел, чтобы насладиться этим потрясающим зрелищем, потому что понял причины, которые подрывают мои принципы и заставляют отбросить щепетильность: друзья, я здесь только из-за своей давней упрямой любви к этой земле, где я когда-то был молодым, счастливым и без документов. Это акт любви и солидарности с моими венесуэльскими друзьями, великодушными, потрясающими, до смерти остающимися шутниками. Я пришел ради них, то есть ради вас.

## Другая родина

*Мехико, 22 октября 1982 г.*

Я получаю орден «Агила ацтека», испытывая два чувства, которые редко сочетаются: гордость и благодарность. Так устанавливаются неразрывные узы, которыми я и моя жена связаны с этой страной с тех пор, как мы двадцать лет назад избрали ее, чтобы жить здесь. Здесь выросли мои дети, здесь я написал свои книги, здесь я посадил деревья.

В шестидесятых годах, когда я уже не был так счастлив, как сначала, но все еще был без официальных документов, мексиканские друзья оказали мне поддержку и вселили в меня отвагу, чтобы я мог продолжать писать в обстоятельствах, которые я воскрешаю сегодня в забытой главе книги «Сто лет одиночества». В прошлом десятилетии, когда успех и излишняя публичность пытались вторгнуться в мою частную жизнь, именно сдержанность и легендарная тактичность мексиканцев позволили мне обрести внутреннее спокойствие и неприкосновенное время для того, чтобы неустанно следовать моему тяжкому ремеслу плотника. И потому это не вторая, а другая родина, которая была дана мне без всяких условий и не пыталась оспорить у первой те любовь и верность, что я к ней испытываю, а также постоянно подпитывающую их ностальгию.

Но оказанная мне честь тронула меня не только потому, что речь идет о стране, где и я жил и живу. Господин президент, я воспринимаю эту награду вашего правительства как награду всем изгнанникам, которых приняла под свое покровительство Мексика. Я знаю, что не являюсь ничьим представителем и что мой случай вовсе не типичен. Я знаю также, что нынешние условия моей жизни в вашей стране весьма отличаются от тех, в которых живет подавляющее большинство преследуемых, волею провидения нашедших в последнее десятилетие убежище в Мексике. К несчастью, на нашем континенте все еще остаются давние тирании и происходят массовые убийства, что вынуждает людей к эмиграции, к изгнанию, куда менее добровольному и приятному, чем у меня. Я говорю от своего имени, но убежден, что многим мои слова будут близки и понятны.

Спасибо, сеньор президент, за эти открытые двери. Прошу Вас, пусть они никогда и ни при каких обстоятельствах не закрываются.

## Одиночество Латинской Америки

*Стокгольм, Швеция, 8 декабря 1982 г.*

Антонио Пигафетта, флорентийский мореплавател, сопровождавший Магеллана в его первом кругосветном путешествии, написал во время пребывания в нашей Южной Америке строгую хронику, которая, однако, кажется буйством воображения. Он рассказывал, что видел свиней с пупком на спине и безногих птиц, самки которых высиживали яйца на спинах самцов, а еще безъязыких пеликанов, чьи клювы были похожи на ложку. Он рассказывал, что видел неизвестное животное с головой и ушами мула и телом верблюда, которое ржало, как лошадь. Рассказывал, как они поставили перед зеркалом первого встреченного ими жителя Патагонии, огромного, с шевелюрой волос, и этот гигант потерял рассудок от страха, увидев свой образ.

Эта краткая и увлекательная книга, в которой уже угадываются зачатки наших сегодняшних романов, отнюдь не является самым удивительным свидетельством нашей действительности того времени. Летописцы Индии оставили нам другие бесчисленные и более невероятные истории. Эльдorado, наша призрачная и столь желанная страна, в течение долгих лет значилась на многих картах, меняя свое местоположение и форму в соответствии с фантазией картографов. В поисках источника Вечной Молодости легендарный Альвар Нуньес Кабеса де Вака в течение восьми лет исследовал север Мексики в составе экспедиции, члены которой в конце концов сошли с ума и съели друг друга, и до цели дошли лишь пятеро из шестисот отправившихся в путь. Одна из так никогда и не разгаданных тайн — это история одиннадцати тысяч мулов, каждый из которых был нагружен ста фунтами золота, что вышли однажды из Куско с целью уплаты выкупа за Атауальпу, но так никогда и не прибыли к месту назначения. Позднее, во времена колонии, в колумбийской Картахене продавали куриц, выращенных на наносной почве, в зобе которых находили золотые камешки. Этот золотой бред наших основателей преследовал нас до недавнего времени. Лишь в прошлом веке немецкая миссия, изучая возможность постройки межокеанской железной дороги на Панамском перешейке, пришла к выводу, что проект осуществим при условии, что рельсы будут сделаны не из железа, бывшего редким металлом в этом регионе, а из золота.

Независимость от испанского господства не спасла нас от безумия. Генерал Антонио Лопес де Санта Анна, трижды становившийся диктатором Мексики, устроил пышные похороны своей правой ногой, которую он потерял во время так называемой Кондитерской войны. Генерал Гарсия Морено правил Эквадором в течение шестнадцати лет в качестве абсолютного монарха, и его труп в парадной форме и броне высших государственных наград усадили в президентское кресло. Генерал Максимилиано Эрнандес Мартинес, теософ-деспот Сальвадора, варварски уничтоживший в бою тридцать тысяч крестьян, изобрел маятник, чтобы проверить, не были ли отравлены продукты, и заставил закрыть красной бумагой городское освещение, чтобы бороться с эпидемией скарлатины. Памятник генералу Франсиско Морасану, воздвигнутый на центральной площади Тегусигальпы, на самом деле является статуей маршала Нея, купленной в Париже на складе ненужных скульптур.

Одиннадцать лет назад один из прославленных поэтов нашего времени, чилиец Пабло Неруда, озарил эту атмосферу своим словом. И тогда в доброе, а иногда и недоброе сознание Европы хлынули потоком фантазмагорические известия из Латинской Америки, необъятной родины мужчин-мечтателей и женщин, вошедших в историю, чье бесконечное упорство и терпеливость стали легендой. У нас не было ни минуты покоя. Президент-Прометей, забаррикадировавшийся в своем пылающем дворце, погиб, сражаясь против целой армии, а две подозрительные авиакатастрофы, обстоятельства которых так и не были выяснены, отняли жизнь еще у одного, с благородным сердцем, и у военного-демократа, вернувшего достоинство своему народу.

За это время произошло пять войн и семнадцать государственных переворотов, появился диктатор-Люцифер, который именем Бога устроил первый этноцид в Латинской Америке нашего времени. За то же время двадцать миллионов латиноамериканских детей умерли, не дожив до двух лет, — больше, чем родилось в Западной Европе с 1970 года. Почти сто двадцать тысяч человек пропали без вести в результате репрессий, это как если бы сегодня вдруг разом исчезли все жители города Упсала. Множество арестованных женщин родили в аргентинских тюрьмах, но до сих пор неизвестно местонахождение и не установлены личности этих детей, которых военные власти отдали на нелегальное усыновление или в приюты. За то, чтобы положить этому конец, отдали свои жизни около двухсот тысяч мужчин и женщин на всем континенте, больше ста тысяч человек погибли в трех небольших странах Центральной Америки — Никарагуа, Сальвадоре и Гватемале. Если бы это случилось в США, то

пропорциональное число составило бы 1 миллион 600 тысяч насильственных смертей за четыре года.

Из Чили, страны с давними традициями гостеприимства, выехало больше миллиона человек — десять процентов ее населения. Уругвай, крошечная страна с двумя с половиной миллионами населения, считавшаяся на континенте цивилизованной, потеряла в изгнании каждого пятого жителя. Гражданская война в Сальвадоре, длящаяся с 1979 года, привела к тому, что каждые двадцать минут в стране появлялся беженец. Вместе все ссыльные и вынужденные эмигранты Латинской Америки могли бы составить население страны большей, чем Норвегия.

Я позволяю себе думать, что именно эта чудовищная действительность, а не только ее литературное выражение, привлекла внимание Шведской академии в этом году. Эта реальность существует не на бумаге, она живет с нами, каждое мгновение, приводя нас к нескончаемым смертям, ставшим привычной обыденностью. Она же является неиссякаемым источником творчества, полным горестей и красоты, и ваш ностальгирующий колумбийский скиталец в ней не больше чем знак, указанный судьбой. Поэты и нищие, воины и мошенники, все мы, рожденные этой безумной действительностью, были вынуждены просить у нее немного воображения, ибо главным вызовом для нас стала недостаточность обычных средств, чтобы заставить поверить в нашу жизнь. Это, друзья мои, перекресток нашего одиночества.

Если эти трудности сковывают даже нас, являющихся их частью, то нетрудно понять, что рациональные таланты другой части мира, упоенные созерцанием своей собственной культуры, остались без действенного метода интерпретации и понимания нашей. Они настаивают на том, чтобы мерить нас той же мерой, что и себя, забыв о том, что превратности жизни не одинаковы для всех и что поиск собственной идентичности столь же изнурителен и кровав для нас, как он был когда-то для них. Интерпретация нашей действительности с помощью чужих схем способствует только тому, что мы все больше становимся незнакомцами, все менее свободными, все более одинокими. Быть может, почтенная Европа лучше бы поняла нас, если бы попыталась увидеть нас в своем собственном прошлом. Если бы вспомнила, что Лондону понадобилось триста лет для возведения первой городской стены и еще триста для появления епископа; что Рим боролся в полумгле в течение двадцати веков, пока один этрусский царь не увековечил его в истории; что еще в XVI веке мирные сегодня швейцарцы, чьи мягкие сыры и бесстрастные часы радуют цивилизацию, обагрили

кровью Европу, будучи солдатами удачи. Даже в апогее Возрождения двенадцать тысяч ландскнехтов, нанятых на службу в войска империи, разграбили и опустошили Рим, вырезав восемь тысяч его жителей.

Я не стремлюсь воплотить в жизнь иллюзии Тонио Крюгера, чьи мечты о союзе добродетельного севера и страстного юга пятьдесят три года назад восхвалял на этом самом месте Томас Манн. Но я думаю, что европейцы с просветленной душой, те, кто также борется здесь за более гуманную и справедливую великую родину, могли бы больше и действеннее помочь нам, если бы в корне пересмотрели свой взгляд на нас. Солидарность с нашими мечтами не избавит нас от ощущения одиночества, пока она не воплотится в конкретных делах законной поддержки народов, принявших на себя ответственность за иллюзию возможности жить своей жизнью в расколотом мире.

Латинская Америка не хочет и не должна быть офицером без свободы выбора, и нет ничего несбыточного в том, что ее стремление к независимости и своеобразие станут западным чаянием. Однако похоже, что прогресс в области мореплавания, столь сокративший дистанцию между нашими Америками и Европой, напротив, увеличил дистанцию между нашими культурами. Почему нашу самобытность полностью признают за нашей литературой, но отрицают с такими яростными предубеждениями, когда речь заходит о наших попытках добиться перемен в социальной сфере? Почему думают, что социальная справедливость, которой пытаются добиться в своих странах передовые европейцы, не может быть и целью латиноамериканцев, но осуществляться иными методами и в других условиях? Нет, неизбежная боль и насилие в нашей истории — это итог вековой несправедливости и бесконечного горя, а вовсе не тайного сговора, затеянного в трех тысячах лиг от нашего дома. Но многие европейские деятели и мыслители верили в него с инфантилизмом стариков, забывших победные похождения своей молодости, словно было невозможно выбрать иную судьбу, не отдаваясь всецело на милость двух великих хозяев мира. Таков, друзья мои, масштаб нашего одиночества. Но на все это — на угнетение, грабеж и покинутость — нашим ответом стала жизнь. Ни потоп и чума, ни голод и катаклизмы, ни даже вечные войны через века и века не смогли уничтожить упорное превосходство жизни над смертью.

Это превосходство все растет и увеличивается: каждый год у нас на семьдесят четыре миллиона больше рождений, чем похорон, и этого количества новых жизней хватит, чтобы каждый год увеличивать в семь раз население Нью-Йорка. Большинство детей рождаются в странах небогатых,



с меньшими ресурсами, в том числе и латиноамериканских. В свою очередь, самые процветающие страны смогли накопить достаточно разрушительной мощи, чтобы сто раз уничтожить не только всех живущих сегодня людей, но всех тех, кто когда-либо жил на этой планете несчастий.

В такой же, как сегодняшней, день мой учитель Уильям Фолкнер сказал на этом месте: «Я отказываюсь признать конец человечества». Я не чувствовал бы себя достойным стоять на этом месте после него, если бы полностью не осознавал, что впервые с возникновения человечества чудовищная катастрофа, которую он отказывался допустить тридцать два года назад, сейчас является не более чем просто научной возможностью. Перед этой пугающей реальностью, которая должна была казаться утопией все время существования человечества, мы как сочинители сказок, верящие во все, вправе верить в то, что еще не поздно начать создавать совсем иную утопию. Новую и всепобеждающую утопию жизни, где никто ничего не сможет решать за других, даже то, как им умереть, где будет существовать истинная любовь и счастье станет возможным и где семьи, приговоренные к ста годам одиночества, получают — раз и навсегда — второй шанс на земле.

## Тост за поэзию

*Стокгольм, Швеция, 10 декабря 1982 г.*

Я благодарю Шведскую академию за то, что она наградила меня премией, которая ставит меня в один ряд со многими из тех, кто дал направление и обогатил мои годы читателя и покорного каждодневного раба этих беспросветных мук, коими является ремесло писателя. Их имена и книги приходят ко мне сегодня словно тени, что охраняют меня, но и ко многому обязывают, и это тяжкое бремя, которое мы принимаем с честью. Эта высокая и жестокая честь казалась мне в них просто справедливостью, но в самом себе я воспринимаю ее как один из уроков, столь нежданно дарованных нам судьбой и делающих очевидным то, что мы лишь карты в неразгаданной карточной игре, а единственным и безотрадным воздаянием часто становятся непонимание и забвение.

Поэтому неудивительно, что с меня спрашивают и меня судят там, в секретной подоплеке, где мы сталкиваемся с той сущностью, что составляет нашу идентичность, всегда бывшую основой моих трудов и, видимо, неизбежно привлекающую внимание этого суда строжайших арбитров. Признаюсь без ложной скромности, что мне было нелегко обнаружить эту причину, и я хочу верить, что она именно та, что мне хотелось бы. Друзья, я хочу верить, что это новое чествование поэзии. Поэзии, во имя которой ветер погнал несметное число кораблей, описанное в «Илиаде» стариком Гомером, выталкивая их в плавание с вневременной и головокружительной быстротой. Поэзии, поддерживавшей на тонких подмостках трехстиший Данте весь их напряженный колоссальный труд в Средние века. Поэзии, столь полно и волшебно возвысившей нашу Америку в «Вершинах Мачу-Пикчу» великого Пабло Неруды, где источают вековую печаль наши несбывшиеся заветные мечты. В конечном счете поэзия — это тайная энергия повседневной жизни, что варит горох на кухне, заражает любовью и отражает образы в зеркалах.

В каждой своей строчке я пытаюсь более или менее удачно уловить ускользающий дух поэзии, оставив в слове свидетельство моей веры в ее ясновидение и неизменную победу над глухими силами смерти. Присужденную мне только что премию я со смирением и скромностью воспринимаю как приятное подтверждение того, что мои попытки были не напрасны. Поэтому приглашаю всех вас провозгласить тост за то, что

великий поэт обеих наших Америк, Луис Кардоса-и-Арагон, определил как единственное конкретное доказательство существования человека на земле: за поэзию.

Большое спасибо.

## Слова для нового тысячелетия

*Гавана, Куба, 29 ноября 1985 г.*

Я всегда спрашивал себя, чему служат встречи интеллектуалов. Кроме немногих из них, действительно имевших историческое значение, таких, как встреча в Валенсии в 1937 году, большинство не выходят за рамки салонных забав. Однако удивляет, как много их проводится, с каждым годом все больше, увеличивается количество участников, они становятся все дороже по мере обострения мирового кризиса. Нобелевская премия по литературе означает получение за год почти двух тысяч приглашений на разнообразные писательские конгрессы, фестивали искусств, коллоквиумы и всякого рода семинары: больше трех в один день в разных частях земного шара. Есть постоянный писательский конгресс, который проходит регулярно, поездки на него полностью оплачиваются, а ежегодные заседания проходят в тридцати одном месте, некоторые из них заманчивы, как Рим или Аделаида, или необычны, как Ставангер или Ивердон, а другие больше похожи на разгадку кроссворда, как Полифеникс или Кнокке. Этих конгрессов столько и на такие разные темы, что в прошлом году в замке Моден в Амстердаме состоялся всемирный конгресс организаторов поэтических конгрессов. И это вовсе не невероятно: предусмотрительный интеллектуал мог бы родиться на конгрессе, вырасти и повзрослеть на последующих конгрессах, делая перерывы лишь для того, чтобы переместиться с одного на другой и достойно умереть от старости на последнем конгрессе.

Но быть может, уже слишком поздно пытаться прервать эту традицию, которую мы, ремесленники культуры, тащим за собой сквозь историю с тех пор, как Пиндар выиграл Олимпийские игры. В те времена тело и дух были в большей гармонии между собой, чем сейчас, а голоса певцов на стадионах ценились так же высоко, как подвиги атлетов. Похоже, уже с 508 года до н. э. римляне предчувствовали, что самой большой опасностью для Игр являются злоупотребления во время них. В те годы были восстановлены Столетние, а позднее Терентинские игры, которые проводились с образцовой для сегодняшнего дня периодичностью: каждые сто или сто три года.

В Средние века возникли своего рода конгрессы по культуре — дебаты или турниры хугларов, затем трубадуров, а позднее одновременно хугларов

и трубадуров. С них пошла традиция, от которой мы страдаем до сих пор: они начинались с игр, а заканчивались яркими спорами. Вместе с тем они достигли такого великолепия, что во времена царствования Людовика XIV открывались огромным пиром — клянусь, воспоминание о нем здесь не является прозрачным намеком: там подавали девятнадцать быков, три тысячи пирогов и более двухсот бочек вина.

Кульминацией этих турниров хугларов и трубадуров были Цветочные игры в Тулузе, самая старинная и постоянная из поэтических встреч, начавшаяся шестьсот шестьдесят лет назад и ставшая образцом традиции. Их основательница Клеменс Изор была женщиной умной, предприимчивой и красавицей. Похоже, ее единственным недостатком было то, что она никогда не существовала: возможно, она была выдумкой семи трубадуров, которые придумали этот конкурс, стремясь всеми силами помешать распространению провансальской поэзии. Но даже то, что она не существовала, является еще одним доказательством творческой силы поэзии, ведь в Тулузе в церкви Богоматери Дорад есть могила Клеменс Изор, ее именем названа улица и в ее честь воздвигнут памятник.

После того как это сказано, мы имеем право спросить себя: а мы что делаем здесь? И прежде всего — что делаю здесь я, увенчанный этой наградой<sup>[1]</sup> и всегда считавший речи одним из самых ужасных обязательств человека? Я не осмелюсь намекнуть на ответ, могу лишь предположить: мы здесь для того, чтобы попытаться придать этой встрече интеллектуалов то, чего не было в большинстве из них, — практическую пользу и последовательность.

Прежде всего она имеет свои отличия. Кроме писателей, художников, музыкантов, социологов, историков на этой встрече присутствуют прославленные ученые. Значит, мы осмелились бросить вызов столь опасному сожителю наук и искусств, смешать в одном плавильном котле тех, кто все еще верит в ясновидение и предсказания, и тех, кто верит лишь в истины, которые могут быть доказаны: это старинная вражда между вдохновением и опытом, инстинктом и разумом. Сен-Жон Перс в своей памятной речи при вручении Нобелевской премии развенчал эту лживую дилемму одной лишь фразой. «Как в ученом, так и в поэте, — сказал он, — надо уважать бескорыстные помыслы». Так пусть хотя бы здесь они не считаются братьями-врагами, ведь они задают одни и те же вопросы об одной и той же бездне.

Мысль о том, что наука касается лишь ученых, так же антинаучна, как антипоэтично полагать, что поэзия касается только поэтов. В этом плане

название ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры — распространяет по всему миру большую неточность, признавая существование трех различных сфер, когда на самом деле все это едино. Культура — это объединяющая сила творчества, использование обществом человеческого ума. Или как без обиняков сказал Джек Лэнг: «Культура — это все». Добро пожаловать! Приветствую всех вас в общем доме!

Я не решаюсь подсказывать ничего, разве что дать несколько поводов для размышления в эти три дня духовного уединения и, надеюсь, единения. Осмелюсь напомнить вам, во-первых, то, что возможно вы и так прекрасно помните: любое среднесрочное решение, принимаемое сейчас, на исходе столетия, становится решением XXI века. Но мы, латиноамериканцы и жители Карибского бассейна, приближаемся к нему с неутешительным ощущением того, что перескочили через XX век: мы страдали от него, не прожив его. Полмира будет праздновать начало 2001 года как кульминацию тысячелетия, а мы едва начинаем видеть на горизонте преимущества промышленной революции. Дети, которые сегодня ходят в начальную школу, готовясь вершить наши судьбы в грядущем столетии, пока что вынуждены считать на пальцах, как древние счетоводы, а ведь уже существуют компьютеры, способные совершать сто тысяч математических операций в секунду. Вместе с тем за сто лет мы лишились лучших человеческих достоинств XIX века: пламенного идеализма и первенства чувств, страха любви.

Когда-нибудь в следующем тысячелетии генетика увидит реальную возможность вечности человеческой жизни, электронный разум возмечтает об авантюрной химере — написать новую «Илиаду», на Луне будет жить в собственном доме парочка влюбленных из Огайо или Украины, и, томимые ностальгией, они будут любить друг друга в стеклянных садах при свете Земли. Вместе с тем Латинская Америка и Карибский бассейн страдают от сегодняшнего рабства: земной беспредел, политические и социальные катаклизмы, неотложные нужды повседневной жизни, зависимость от всего, бедность и несправедливость не оставили нам времени, чтобы усвоить уроки прошлого или подумать о будущем. Аргентинский писатель Родольфо Терраньо так обобщил эту драму: «Мы используем рентгеновские лучи и транзисторы, катодные трубки и электронную память, но не включили основы современной культуры в нашу собственную культуру».

К счастью, главным ресурсом Латинской Америки и Карибского

бассейна является энергия, которая движет миром: память наших народов, несущая в себе опасность. Это колоссальное культурное достояние существовало раньше исходного материала, сложнейшей первоосновы, сопровождающей каждый шаг нашей жизни. Эта культура сопротивления выражается в тайниках нашего языка, в девах-мулатках — наших покровительницах, сделанных руками ремесленников и ставших настоящим чудом, созданным народом вопреки власти церкви колонизаторов. Эта культура солидарности выражена и в преступных излишествах нашей неукротимой природы, и в восстаниях народов, борющихся за свой подлинный суверенитет. Эта культура протеста видна на индейских лицах — изваянных ремесленниками ангелов нашего времени, слышна в музыке вечных снегов, заклинающей власть смерти с ностальгией глухих. Эта культура повседневной жизни чувствуется в гастрономической фантазии, в манере одеваться, в придуманных суевериях, интимных литургиях любви. Эта культура праздника, посягательства, тайны разрывает смирительную рубашку реальности и наконец примиряет разум и воображение, слово и жест, доказывая, что нет такой теории, которая рано или поздно не была бы превзойдена жизнью. В этом сила нашей отсталости. Энергия новизны и красоты полностью принадлежит нам, и, благодаря ей, нам хватает самих себя, ее не сможет укротить ни алчность империи, ни жестокость угнетателей, ни наши собственные извечные страхи, не дающие нам выразить в словах самые заветные мечты. Сама революция — тоже культурное творчество, воплощение призвания и творческих способностей, оправдывающих нас, но требующих глубокой веры в будущее.

Наша встреча станет не просто одной из многих, каждый день проходящих в мире, только если мы сможем предугадать новые формы практической организации, дать направление неудержимому потоку творческой энергии наших народов, воплотить в жизнь взаимообмен и солидарность между нашими творческими деятелями, поддерживать историческую преемственность, а также расширить и углубить общественную ценность интеллектуального творчества — самого таинственного и уединенного из всех занятий человека. Это будет решающий вклад для нашего политического самоопределения, которое уже невозможно откладывать, — надо оставить позади пять чужих веков и твердо ступить на землю за тысячелетним горизонтом грядущего тысячелетия.

## Дамоклов катаклизм

*Икстана-Сиуатанехо, Мехико,  
6 августа 1986 г.*

Через минуту после последнего взрыва погибнет больше половины человечества, порох и дым пылающих континентов затмят солнечный свет и полная тьма воцарится в мире. Зима оранжевых дождей и ледяных ураганов опрокинет время океанов и повернет вспять течение рек, рыбы в горячих водах умрут от жажды, а птицы не найдут неба. Вечные снега и льды скуют пустыню Сахару; бескрайняя Амазония исчезнет с лица земли, убитая градом, а эра рока и пересаженных сердец вернется к своему ледниковому детству. Немногие люди, выжившие после первого шока, и те, кто будет иметь привилегию укрыться в надежном убежище в три часа дня в роковой понедельник великой катастрофы, спасут свою жизнь лишь для того, чтобы потом умереть от ужаса воспоминаний. Творчеству придет конец. В финальном хаосе влаги и вечной ночи единственным осколком того, что когда-то было жизнью, останутся тараканы.

Господа президенты, господа премьер-министры, друзья и подруги!

Это не дурное подражание умоисступлению Иоанна в пустыне Патмоса, а предощущение космической катастрофы, которая может произойти прямо в этот момент, из-за взрыва — направленного или случайного — лишь минимальной части ядерного арсенала, который одним глазом спит, а другим смотрит за сантабарбарами великих держав.

Так и есть. Сегодня, 6 августа 1986 года, в мире дислоцировано более 50 000 ядерных боеголовок; попросту говоря, это значит, что каждый человек, включая детей, сидит на бочке с четырьмя тоннами динамита, и взрыв всего этого запаса может двенадцать раз уничтожить все живое на Земле. Разрушительный потенциал этой колоссальной угрозы, нависшей над нашими головами, как дамоклов меч, ставит вопрос о теоретической возможности уничтожения еще четырех планет, что вращаются вокруг Солнца, и нарушения равновесия Солнечной системы. Никакая наука и искусство, никакая промышленность не удваивались столько раз, сколько ядерная индустрия с момента своего возникновения сорок один год назад, и ни одно другое изобретение человеческого разума не имело такой разрушительной силы и власти над судьбами мира.



Единственное утешение в сих ужасающих утешениях и упрощениях, — если они вообще на что-то годятся, — это возможность убедиться в том, что сохранение жизни человечества на Земле все еще дешевле, чем ядерная чума, потому что сам факт существования чудовищного Апокалипсиса, скрытого в подземельях смерти самых богатых стран, уничтожает возможность лучшей жизни для всех.

К примеру, в сфере помощи детям это элементарная арифметическая истина. ЮНИСЕФ подсчитала в 1981 году стоимость программы, позволяющей решить основные проблемы 500 миллионов самых бедных детей мира. Программа включала в себя базовую медицинскую помощь, начальное образование, улучшение санитарных условий жизни, обеспечение питьевой водой и питанием. Все это казалось несбыточным сном за 100 000 миллионов долларов. Однако это всего лишь стоимость сотни стратегических бомбардировщиков В-1В или менее семи тысяч крылатых ракет, в производство которых правительство США собирается вложить 21,2 миллиарда долларов. В области здравоохранения на сумму, равную стоимости десяти из пятнадцати ядерных авианосцев «Нимиц», которые США построит до 2000 года, можно было бы реализовать программу профилактики малярии для 1 миллиарда человек и избежать гибели за те же четырнадцать лет — только в Африке — более 14 миллиардам детей.

В области обеспечения продовольствием в прошлом году, по подсчетам ФАО, около 575 миллионов человек голодали. Необходимое им среднее количество калорий стоило бы меньше, чем 149 ракет МХ из тех 223, что будут размещены в Западной Европе. А 27 из них было бы достаточно для закупки необходимого сельскохозяйственного оборудования для беднейших стран, которое позволило бы им обеспечить себя продовольствием в ближайшие четыре года. Эта программа стоила бы меньше девятой части советского военного бюджета 1982 года.

В области образования стоимость всего двух атомных подводных лодок «Трайидент» из двадцати пяти, что планирует построить нынешнее правительство Соединенных Штатов, или такого же числа подводных лодок «Гайфун», что строит Советский Союз, позволила бы начать осуществление мечты о ликвидации неграмотности во всем мире. С другой стороны, строительство школ и подготовка учителей, столь необходимых «третьему миру» для решения дополнительных проблем в области образования в течение ближайших десяти лет, могли бы быть оплачены суммой, эквивалентной стоимости двухсот сорока пяти ракет «Трайидент II», и еще осталось бы четыреста девятнадцать ракет для аналогичного

вклада в образование на пятнадцать последующих лет.

Наконец, можно сказать, что списание внешнего долга всего «третьего мира» и его экономическое восстановление в течение десяти лет обошлись бы меньше чем в шестую часть военных расходов всего мира за тот же срок. По сравнению с этой чудовищной расточительностью в экономике еще больше беспокоит и печалит расточительство человеческих ресурсов: военная промышленность держит в плену целую армию мудрецов, которую ни разу не удавалось собрать ни одному предприятию в истории человечества. Это наши люди, чье обычное место не там, а здесь, за этим столом, и их необходимо освободить для того, чтобы они помогли нам создать в области образования и юстиции то единственное, что может нас спасти от варварства: культуру мира.

Несмотря на эту драматическую определенность, гонка вооружений не дает нам ни минуты передышки. За то время, что мы сейчас обедаем, была построена новая ядерная ракета; завтра, когда мы проснемся, их число в хранилищах смерти полушария богатых увеличится еще на девять. Стоимости всего лишь одной из них хватило бы — хотя бы на одно осеннее воскресенье, — чтобы обрызгать сандалом Ниагарский водопад.

Один великий романист нашего времени как-то спросил себя, не превратится ли Земля в ад для других планет. Или может быть, она станет чем-то более ничтожным: деревней без памяти, брошенной своими богами в последнем предместье великой вселенской родины. Но растущее подозрение, что это единственное место в Солнечной системе, где чудесным образом зародилась жизнь, безжалостно подводит нас к удручающему заключению: гонка вооружений развивается в направлении, противоположном разуму.

И не только человеческому разуму, а разуму самой природы, чей смысл ускользает даже от всевидения поэзии. От зримого появления жизни на Земле должно было пройти триста восемьдесят миллионов лет, чтобы бабочка научилась летать, и еще сто восемьдесят миллионов лет, чтобы придумать розу, чье единственное предназначение — быть прекрасной, а также четыре геологические эры, чтобы человеческие существа — в отличие от прадедушки питекантропа — обрели способность петь лучше птиц и умирать от любви. Не составляет труда для таланта *homo sapiens* в золотой век науки придумать способ обратить в ничто сложнейший, колоссальнейший процесс формирования современного человеческого интеллекта, занявший много тысяч лет, — простым нажатием кнопки вернуть все в начальную точку, в эпоху того же питекантропа.

Мы здесь ради того, чтобы попытаться помешать этому, присоединив

наши голоса к бесчисленным другим, призывающим к миру без оружия, к справедливому миру. Но даже если это произойдет, наша сегодняшняя встреча не будет напрасной. Спустя миллионы или миллиарды лет после взрыва одна выжившая саламандра заново пройдет все стадии развития видов и, возможно, будет коронована как самая прекрасная женщина из новых созданий природы. От всех нас, мужчин и женщин, представителей науки, искусства и литературы, людей разума и мира, от нас зависит, чтобы приглашенные на эту фантастическую коронацию не пришли на праздник с сегодняшними страхами. Со всей скромностью, но и со всей силой духа я предлагаю, чтобы мы здесь и сейчас приняли обязательство создать сокровищницу памяти, способную пережить атомный потоп. Это будет бутылка звездных кораблекрушений, брошенная в океаны времени, чтобы человечество грядущих времен узнало о нас то, что ему не смогут рассказать тараканы: что здесь когда-то существовала жизнь и в ней господствовали страдание и несправедливость, но у нас также была любовь, и мы были способны представить себе настоящее счастье; о виновных в нашей катастрофе, о глухоте к нашим призывам к миру и к тому, чтобы сделать нашу жизнь лучшей из возможных, а также о том, как варварскими изобретениями в каких-то своих ничтожных интересах мы сами стерли жизнь из памяти Вселенной.

## Непобедимая идея

*Куба, Гавана, 4 декабря 1986 г.*

Все началось с этих двух высоковольтных вышек, стоящих у входа в дом. Две ужасные вышки, словно два жирафа из варварского бетона, которые бессердечный чиновник приказал установить внутри переднего сада, даже не предупредив об этом его законных хозяев, и которые сейчас, в этот самый момент поддерживают над нашими головами высоковольтное напряжение в сто десять миллионов ватт, чего достаточно для поддержания включенными миллиона телевизоров или двадцати трех тысяч кинопроекторов 35 мм. Обеспокоенный этим известием, президент Фидель Кастро появился здесь шесть месяцев назад, чтобы выяснить, есть ли возможность как-то исправить ситуацию и возместить ущерб в случае чего — и так мы обнаружили, что этот дом очень подходит для пристанища Фонда нового латиноамериканского кино.

Башни остались на своем месте, и они кажутся все более отвратительными по мере того, как дом становится прекраснее. Мы пытались замаскировать их королевскими пальмами, утыкать цветущими ветками, но их уродство столь впечатляюще и велико, что затмило все наши ухищрения. Единственное, что нам пришло в голову (как последний шанс превратить поражение в победу), — это попросить вас узреть в них не то, что они представляют собой на самом деле, а непоправимо изуродованную скульптуру. Только после того как этот дом стал резиденцией Фонда нового латиноамериканского кино, мы узнали, что история дома не началась и не закончилась этими вышками, и многое из того, что о нем рассказывалось, ни правда, ни ложь. Это кино. Как вы уже догадались, именно здесь Томас Гутьеррес Алеа снял фильм «Выжившие». Спустя восемь лет после премьеры и через двадцать семь лет после победы Кубинской революции он не стал новой истиной в истории воображения или ложью в истории Кубы, будучи частью реальности между настоящей жизнью и выдумкой, что и представляет собой кино.

Поэтому немногие дома — вроде этого — так подходят для того, чтобы начать путь к нашей конечной цели, которая является не чем иным, как интеграцией латиноамериканского кино. Так просто и так безумно. И никто не может заклеить нас ни за простоту, ни за безумие наших начальных шагов в этот первый год жизни, который по совпадению

исполняется сегодня, в День святой Варвары, давшей во имя искусства святости или ханжества первоначальное имя этому дому.

На следующей неделе Фонд нового латиноамериканского кино получит от кубинского государства дар, за который мы никогда не устанем его благодарить в силу беспрецедентной своевременности и ценности, а также за личное участие в нем самого неизвестного кинематографиста мира — Фиделя Кастро. Я имею в виду Международную школу кино и телевидения в Сан-Антонио-де-лос-Баньос, которая готовит специалистов для Латинской Америки, Азии и Африки, используя самые современные технические средства. Эта школа была построена всего за восемь месяцев. В нее пригласили преподавателей из различных стран, набрали студентов, и большинство из них уже находятся здесь, с нами. Фернандо Бирри, директор школы, которому не откажешь в чувстве нереальности, недавно назвал ее президенту Аргентины Раулю Альфонсину — причем на его святом лице не дрогнул ни один мускул — «лучшей школой кино и телевидения во всей мировой истории».

Эта инициатива по самой своей природе станет наиболее важной и амбициозной из всех наших инициатив, но не единственной, ибо подготовка безработных специалистов была бы слишком дорогим способом увеличения безработицы. А потому с этого первого года мы начали закладывать основы крупного предприятия, занимающегося продвижением улучшения творческой атмосферы кино и телевидения Латинской Америки, и ее первыми шагами станут следующие.

Мы согласовали с частными производителями съемку двух полнометражных художественных и двух полнометражных документальных фильмов, всеми ими будут руководить латиноамериканские режиссеры, а также пяти часов, пяти серий для телевидения, поставленных пятью режиссерами кино и телевидения из разных стран Латинской Америки.

Мы призываем в эти дни помочь молодым кинематографистам Латинской Америки, которые не смогли реализовать или закончить свои проекты в кино или на телевидении.

Затем мы намерены приобрести в каждой из стран Латинской Америки и, возможно, в некоторых столицах Европы кинозалы, предназначенные для постоянного показа и изучения латиноамериканского кино всех времен.

Мы проводим в каждой стране Латинской Америки ежегодный конкурс любителей кино с помощью соответствующих секций Фонда, видя в этом способ раннего выявления призвания и создания возможности для Международной школы кино и телевидения проводить отбор будущих

студентов.

Мы содействуем научным исследованиям о реальном положении в кино и телевидении Латинской Америки, способствуем созданию банка аудиовизуальной информации о латиноамериканском кино и первой фильмотеки независимого кино «третьего мира».

Мы оказываем помощь созданию целостной истории латиноамериканского кино, а также словаря для унификации кинематографического и телевизионного лексикона на испанском языке.

Мексиканская секция Фонда уже начала публикацию, охватывающую, страна за страной, основные статьи и документы нового латиноамериканского кино.

В рамках этого фестиваля кино в Гаване мы предлагаем призвать правительства Латинской Америки и ее киноорганизации начать творческое осмысление некоторых пунктов своих законов о поддержке национального кино, поскольку во многих случаях они являются скорее препятствием, чем защитой, и в целом противоречат интеграции латиноамериканского кино.

Между 1952-м и 1955 годами четверо из присутствующих на этом корабле учились в Экспериментальном центре кинематографии в Риме: Хулио Гарсиа Эспиноса, вице-министр культуры, ответственный за кинематограф, Фернандо Бирри, великий отец нового латиноамериканского кино, Томас Гутьеррес Алеа, один из великих мастеров, и я, который тогда ничего не хотел в этой жизни, кроме как быть кинорежиссером, кем так и не стал. Тогда мы говорили так же много, как и сегодня, о кино, которое нужно создать в Латинской Америке, о том, как это надо делать, наши мысли вдохновлялись итальянским неореализмом, который — как и наш в нашем представлении — является наименее затратным и наиболее гуманным из всех кинематографов, существовавших до сих пор. Но уже с той поры мы сознавали, что кинематограф Латинской Америки, если он хочет существовать, может быть только единым. Тот факт, что этим вечером мы продолжаем обсуждать здесь как чокнутые ту же тему, что и тридцать лет назад, и вместе с нами ее обсуждают столько латиноамериканцев из разных стран и разных поколений, я хотел бы счесть еще одним доказательством всепоглощающей власти непобедимой идеи.

В те далекие дни в Риме в одной съемочной группе со мной произошло приключение. Я был избран в школе третьим ассистентом режиссера Алехандро Бласетти в фильме «Жаль, что ты каналья». Это вызвало у меня огромную радость, не столько из-за моего личного прогресса, сколько из-за возможности познакомиться с исполнительницей

главной роли в фильме актрисой Софи Лорен. Но я ее так и не увидел, ибо моя работа в течение месяца заключалась в том, что я должен был держать веревку на углу улицы, чтобы к нам не прорывались любопытствующие. И именно звание прилежного исполнителя, а не многие другие, более звонкие, заработанные мною впоследствии в качестве романиста, дало мне смелость председательствовать сегодня в этом доме, чего я никогда не делал в своем, и говорить от имени стольких и столь заслуженных деятелей кино.

Это ваш дом, дом для всех, и единственное, чего ему не хватает для завершения, так это таблички с надписью крупными буквами, которую будет видеть весь мир: «Принимаются пожертвования». Милости просим.

## Предисловие к новому тысячелетию

*Каракас, Венесуэла, 4 марта 1990 г.*

Эта отважная выставка открывается в тот исторический момент, когда человечество меняется. Мир еще находился в полутьме XX века, одного из самых фатальных в этом умирающем тысячелетии, когда три года назад ее замыслил Милагрос Мальдонадо. Мышление было в плену непримиримых догм и утилитарных идеологий, посеянных на бумаге, а не в сердцах людей, и его основным символом была конформистская выдумка о том, что мы переживаем расцвет человечества. Внезапно неведомый откуда налетевший сильный шквал начал расшатывать этого колосса на глиняных ногах, дав нам понять, что с незапамятных времен мы шли по ложному пути. Но вопреки тому, что можно было подумать, это вовсе не прелюдия падения, а, напротив, начало долгого рассвета мира, где разум будет полностью свободен и никто не будет управлять человеком, кроме его собственной головы.

Быть может, наши предки в доколумбовую эпоху пережили подобный опыт в 1492 году, когда группа европейских мореплавателей оказалась на этих землях, лежавших, по их мнению, на пути в Индию. Наши дальние предки не знали ни компаса, ни пороха, но они умели говорить с птицами и угадывать будущее на тарелке. Глядя на звезды в бесконечные ночи тех времен, они, возможно, догадывались, что Земля круглая, как апельсин, ибо им были неведомы великие тайны сегодняшней мудрости, зато они были великими мастерами в области воображения.

Так они защищались от завоевателей живой легендой об Эльдорадо, фантастической империи, чей король погружался в воды священного озера, покрытый золотой пылью. Завоеватели спрашивали, где она находится, и указывали направление пятью расставленными пальцами. «Здесь, там и еще дальше», — говорили они. Дороги раздваивались, скрещивались, меняли направление, уходили все дальше, еще дальше и еще чуть-чуть дальше. Они становились такими невозможными, чтобы обезумевшие от алчности искатели могли прозевать их, потерять свой след и обратный путь. Никто никогда не нашел Эльдорадо, никто ее не увидел, она никогда не существовала, но ее рождение положило конец Средневековью и открыло путь великой эпохе развития мира. Одно лишь ее название указывало на масштаб перемен: Возрождение.



Пять веков спустя человечество вновь было потрясено, когда Нейл Армстронг оставил свой след на Луне. У нас душа ушла в пятки, когда, находясь жарким летом на Пантеллерии, пустынном острове близ Сицилии, мы увидели на экране телевизора этот почти мистический сапог, вслепую ощупывавший лунную поверхность. Мы, две супружеские пары с детьми из Европы и две из Латинской Америки, замерли в страхе, слыша дыхание Истории. После напряженного ожидания лунный сапог опустил свою подошву в ледяную пыль, и диктор произнес фразу, которая, должно быть, вертелась в голове много веков: «Впервые в истории человек ступил на Луну». Все, кроме латиноамериканских детей, которые спрашивали хором: «А это в первый раз?» — ушли из комнаты, сочтя себя обманутыми. «Что за глупость!» Ведь для них все, что они однажды видели в своем воображении — как Эльдорадо, — имело ценность свершившегося факта. Завоевание космоса, как они себе это представляли в колыбели, случилось давным-давно.

Так, в мире неотвратимого будущего ничто не записано заранее, там не останется места ни для каких освященных иллюзий. Многое из того, что вчера было правдой, завтра перестанет быть ею. Вероятно, формальную логику сведут к школьному методу, чтобы дети поняли, каким был старинный и ныне запретный обычай ошибаться и, может, грандиозные и сложнейшие технологии современных коммуникаций будут упрощены с помощью телепатии. Это будет своего рода просвещенный примитивизм, основным инструментом которого станет воображение.

Мы вступаем в эру Латинской Америки, главного в мире генератора творческого воображения — самого ценного сырья, так необходимого для нового мира. Сто его изображений ста художников-фантастов могут стать не просто его образом, а великим предвестием еще не открытого континента, где счастье одержит победу над смертью, будет мир навсегда, будет больше времени, здоровья, горячей еды, страстной румбы, больше всего самого лучшего для всех. В двух словах: больше любви.

## Меня здесь нет

*Гавана, Куба, 8 декабря 1992 г.*

Сегодня утром я прочел в одной европейской газете, что меня здесь нет. Это меня не удивило, потому что я и раньше уже слышал о том, что я увез мебель, книги, диски и картины из дворца, который мне подарил Фидель Кастро, и вывез при помощи одного из посольств оригиналы ужасного романа против Кубинской революции.

Если вы еще не знали об этом, то теперь знайте. Пожалуй, это и есть причина, почему я не могу быть здесь сегодня вечером и открыть этот кинозал, который, как само кино и все с ним связанное, быть может, не что иное, как обман зрения. Этот зал стоил нам стольких страхов и сомнений, что сегодня — пятьсот лет, один месяц и двадцать шесть дней спустя после высадки Колумба — мы все еще не можем поверить, что это происходит на самом деле.

В разные моменты этой истории случались различные чудеса, но одно стало главным: впечатляющее научное развитие страны. Это еще одна великая иллюзия, ставшая реальностью в этом доме. Никогда кино не имело таких выдающихся и великодушных соседей. Когда казалось, что этот зал обречен, они позвонили в нашу дверь, но не для того, чтобы попросить о чем-то, а чтобы протянуть нам руку.

Поэтому Фонд нового латиноамериканского кино справедливо и взаимно разделяет с научной общественностью Кубы удовольствие находиться в этом зале, и я уверен, что нам есть много чего сказать друг другу. Это не ново: Сен-Жон Перс в своей памятной речи при вручении Нобелевской премии показал, до какой степени общие источники и методы у наук и искусства. Как видите, с учетом того, что меня здесь нет, мне удалось сказать вам не так уж мало. Надеюсь, это вдохновит меня перевезти назад мою мебель, книги, рассказы, и закон Торричелли позволит нам привезти откуда-нибудь другие краеугольные камни, чтобы заложить еще много домов, подобных этому.

## **В честь Белисарио Бетанкура по случаю его семидесятилетия**

*Санта-Фе-де-Богота, Колумбия,  
18 февраля 1993 г.*

Перепутав часовой пояс, я позвонил в президентский дворец в три часа ночи. Неуместность поступка еще более обеспокоила меня, когда я услышал в телефонной трубке лично президента республики. «Не беспокойся, — сказал он мне своим архиерейским тоном. — На моей сложной работе нет другого времени, чтобы почитать стихи». Этим был занят президент Белисарио Бетанкур на рассвете: он перечитывал математические стихи Педро Салинаса, пока не принесли газеты, чтобы омрачить его новый день фантазиями реальной жизни. Девятьсот лет назад Гильом IX, великий герцог Аквитании, так же бодрствовал ночами во время войны, сочиняя распутные четверостишия и любовные романсы. Генрих VIII, уничтоживший уникальные библиотеки и отрубивший голову Томасу Мору, закончил антологиями елизаветинского цикла. Царь Николай I помогал Пушкину править поэмы, чтобы избежать столкновения с кровавой цензурой, навязанной им самим.

История оказалась не столь жестока к Белисарио, потому что он на самом деле был не правителем, любящим поэзию, а поэтом, на которого судьба наложила епитимию власти. Непреодолимое призвание, в ловушку которого впервые он попал в двенадцать лет в семинарии Ярумалы. Это было так: устав от бесплодности *rosa rosae rosarum*, Белисарио написал свои первые стихи, явно навеянные Кеведо, еще до того, как он прочел Кеведо, и прекрасные восьмисложники до прочтения Фернана Гонсалеса:

Господь, Господь, мы молим тебя  
и будем молить без конца,  
чтобы упали лучи дерьма  
на профессора латыни.

И первый луч упал на него самого: его тут же исключили. Бог хорошо понимал, что он сделал. Если бы этого не случилось, кто знает,

праздновали ли бы мы сегодня семидесятилетие первого колумбийского Папы.

Молодежь сейчас не может себе представить, до какой степени тогда мы жили в тени поэзии. Вместо «первый курс бакалавриата» говорили «первый курс литературы», и в полученном дипломе, несмотря на химию и тригонометрию, значилось: бакалавр искусств. Для нас, аборигенов со всех провинций, Богота была не столицей страны и местопребыванием правительства, а городом ледяных дождей, где жили поэты. Мы не только верили в поэзию, но и точно знали, как сказал бы Луис Кардоса-и-Арагон, что она является единственным конкретным доказательством существования человека. Колумбия благодаря поэзии вступала в XX столетие с почти полувековым опозданием. Это была безумная страсть, иной образ жизни, какой-то огненный шар, повсюду летавший сам по себе. Кто-то приподнимал ковер метлой, чтобы спрятать мусор, и это было невозможно, ибо под ним была поэзия; он открывал газету, даже на экономической или юридической странице — она была и там; в остатке кофейной гущи на дне чашки тоже была поэзия. Даже в тарелке супа. Там ее обнаружил Эдуардо Карранса: «Глаза, смотрящие через домашних ангелов запаха супа». Хорхе Рохас нашел ее в наслаждении игрой главной несуразицы: «Сирены не открывают ноги, потому что они в чешуе». Даниэль Аранго нашел ее в совершенстве одиннадцатисложного стиха, написанного корявыми буквами на витрине магазина: «Полная реализация существования». Она была даже в общественных туалетах, где ее прятали некогда римляне: «Если не боишься бога, побойся сифилиса».

С тем же благоговейным страхом, с которым мы детьми посещали зоопарк, мы заходили в кафе, где вечерами собирались поэты. Маэстро Леон де Грейф учил их без злобы проигрывать в шахматы, не давать передышки тяжелой с похмелья голове и прежде всего не бояться слов. Это был город, куда прибыл Белисарио Бетанкур, начав свое великое приключение с отрядом не потерявших смелости жителей Антиокии, в фетровой шляпе с полями, широкими, как крылья летучей мыши, в сутане священнослужителя, выделявшей его среди прочих смертных. Он пришел, чтобы остаться в кафе поэтов, как Петр у себя дома.

С тех пор история не давала ему ни минуты передышки. Особенно в то время, когда он стал президентом республики, — возможно, это был единственный акт неверности поэзии. Ни одному другому правителю Колумбии не пришлось противостоять одновременно разрушительному землетрясению, убийственному извержению вулкана и двум кровавым геноцидным войнам в стране Прометея, которая вот уже два столетия

убивает сама себя из-за страстного желания жить. Но я думаю, что ему удалось выпутаться из всего этого не только благодаря своему развитому политическому чутью, но и из-за сверхъестественной силы поэтов, с которой они противостоят всем невзгодам.

Понадобилось семьдесят лет и вероломство одного молодежного журнала, чтобы Белисарио наконец полностью открылся нам, отбросив листья виноградных лоз всех цветов и размеров, под которыми он оберегался от риска быть поэтом. Медлительность третьего возраста — это достойный и прекрасный способ снова стать молодым. Поэтому мне показалось справедливым, что эта встреча друзей прошла именно в доме поэзии. Тем более в том доме, где на рассвете все еще слышатся вкрадчивые шаги Хосе Асунсьона, прошедшего бессонную ночь из-за шелеста роз, где снова встретились мы — друзья, больше всего любившие Белисарио, когда он еще не был президентом, и так часто сочувствовавшие ему, когда он им уже стал. И мы продолжаем любить его больше, чем когда бы то ни было, сейчас, когда он достиг этого странного рая — не быть и не желать.

## Мой друг Мутис

*Санта-Фе-де-Богота, Колумбия,  
25 августа 1993 г.*

Мы с Альваро Мутисом заключили соглашение не говорить публично друг о друге ни хорошо ни плохо, это было нечто вроде прививки от оспы как взаимной хулы, так и комплиментарщины. Однако ровно десять лет назад именно здесь он нарушил наш двусторонний договор об этом своеобразном и строгом внешнем нейтралитете только лишь от того, что ему не понравился парикмахер, которого я ему рекомендовал. С тех пор я ждал случая съесть остывшее блюдо мести и думаю, что вряд ли мне представится более подходящий случай.

Альваро тогда рассказал, как нас представил друг другу Гонсало Мальярино в идиллической Картахене 1949 года. Мне казалось, что это была первая встреча, пока однажды вечером три или четыре года назад я случайно не услышал кое-что о Феликсе Мендельсоне. Это было откровение, которое внезапно перенесло меня в мои университетские годы в пустынный музыкальный салон Национальной библиотеки Боготы, где находили убежище те из нас, у кого не было пяти сентаво, чтобы заниматься в кафе. Среди немногочисленных вечерних посетителей салона я ненавидел одного, с геральдическим носом и бровями турка, огромным телом и крошечными туфлями Буффало Билла, — того, кто неизменно входил ровно в четыре часа дня и просил сыграть ему скрипичный концерт Мендельсона. Должно было пройти сорок лет до того дня, когда я неожиданно узнал громовой голос, ноги младенца Христа, дрожащие руки, неспособные продеть иголку через верблюжье ухо.

«Черт побери! — сказал я ему сраженный. — Так это был ты!»

Единственное, о чем я пожалел, — это невозможность взыскать с него за запоздалые обиды, поскольку мы вместе переварили столько музыки, что у нас не было обратного пути. Поэтому мы остались друзьями, несмотря на открывшуюся в центре его широкой культуры непостижимую бездну, едва не разведшую нас навсегда: его бесчувственность к болеро.

Альваро уже много раз рисковал из-за своих бесконечных странных занятий. В 18 лет, когда он был диктором Национального радио, ревнивый вооруженный муж поджидал его за углом, потому что решил, что в импровизированных представлениях его программ скрывались

зашифрованные записки его жене. В другой раз во время торжественного акта в этом самом президентском дворце он перепутал названия двух старших Льерасов. Позднее, будучи уже специалистом в области связей с общественностью, он ошибся на благотворительном собрании и вместо документального фильма о детях-сиротах показал дамам из высшего общества порнографическую комедию о монашках и солдатах, замаскированную под невинным названием «Выращивание апельсинов». Он также возглавлял отдел связей с общественностью одной авиакомпании, которая перестала существовать с падением своего последнего самолета. Альваро тратил время на идентификацию трупов, чтобы сообщать семьям известия раньше журналистов. Застигнутые врасплох родственники открывали ему дверь, думая, что это радостная новость, но, едва увидев его лицо, падали как громом сраженные со страшным криком.

На другой, более приятной работе ему пришлось вытаскивать из отеля Барранкильи subtilный труп самого богатого человека в мире. Он спустил его в вертикальном положении на служебном лифте в гробу, срочно купленном в похоронном агентстве на углу. Камергеру, спросившему его, кто там внутри, он ответил: «Сеньор епископ». В одном ресторане в Мексике, где изъяснялись криками, сосед за столиком попытался напасть на него, думая, что это Уолтер Уинч, персонаж фильма «Неприкасаемые», который Альваро дублировал для телевидения. За двадцать три года, что он продавал иностранные фильмы в Латинской Америке, он семнадцать раз объехал мир, не изменив своего образа жизни.

Больше всего я всегда ценил в нем его бескорыстие школьного учителя с ярким призванием, которое он никогда не смог реализовать из-за своего проклятого маниакального порока — бильярда. Ни один из известных мне писателей не проявляет столько заботы о других, особенно о молодых литераторах. Он побуждает их заниматься поэзией против воли родителей, совращает их тайными книгами, гипнотизирует своим цветистым красноречием и отправляет скитаться по миру с убеждением, что можно быть поэтом и не умереть, пытаясь стать им.

Никто не извлек из этой добродетели столько прибыли, сколько я. Я уже как-то рассказывал, что именно Альваро впервые принес мне книгу «Педро Парамо» и сказал: «Вот тебе, старик, учись». Он никогда не представлял себе, во что влип. Потому что после прочтения Хуана Рульфо я научился не только писать в другой манере, но и всегда иметь наготове еще один рассказ, чтобы не пересказывать тот, который пишу. Первой же и абсолютной жертвой этой моей спасительной системы стал сам Альваро Мутис — с тех пор как я засел за «Сто лет одиночества». В течение

восемнадцать месяцев почти каждый вечер он приходил ко мне домой, чтобы я пересказывал ему законченные главы и таким образом улавливал его реакции. Он слушал с таким интересом и энтузиазмом, что в тот же вечер или на другой день сам везде рассказывал их в улучшенном и исправленном им виде. Его друзья потом пересказывали мне их так, как их рассказывал Альваро, и много раз я использовал его вклад. Закончив первый черновой вариант, я послал его ему домой. На следующий день он позвонил мне возмущенный. «Ты выставил меня какой-то сукой по отношению к моим друзьям, — закричал он. — Эта штука не имеет ничего общего с тем, что ты мне рассказывал».

С тех пор он стал и первым читателем моих рукописей. Его суждения были столь жесткими, но такими разумными, что как минимум три моих рассказа погибли в мусорной корзине, потому что он был против них. Я сам не могу сказать, что именно от него есть почти во всех моих книгах, но знаю, что есть очень многое.

Меня часто спрашивают, как эта дружба могла процветать в столь подлые времена. Ответ прост: Альваро и я видимся очень редко, и только для того, чтобы быть друзьями. Хотя мы прожили в Мексике больше тридцати лет и были почти соседями, там мы виделись реже всего. Когда я хочу видеть его или он меня, мы вначале созваниваемся, чтобы убедиться в том, что мы действительно хотим увидеться. Лишь однажды я нарушил это простейшее правило дружбы, и Альваро представил мне высшее доказательство того, каким другом он способен быть.

Это было так: утонув в текиле с одним моим очень близким другом, я позвонил в четыре часа утра в квартиру, где Альваро вел печальную холостяцкую жизнь и — есть! Без всякого объяснения, под его отупевшим со сна взглядом мы сняли прекрасную картину маслом Ботеро размером метр на метр двадцать; мы унесли ее без всяких объяснений и сделали с ней что захотели. Альваро никогда не сказал мне ни слова об этом грабеже, пальцем не пошевелил, чтобы узнать о дальнейшей судьбе картины, и мне пришлось ждать до этого вечера — его первые семьдесят лет! — чтобы поведать о моих угрызениях совести.

Другим важным столпом нашей дружбы стало то, что в большинстве случаев, будучи вместе, мы путешествовали. Это позволяло нам заботиться о других людях и вещах большую часть времени, а заниматься друг другом только тогда, когда оно действительно того стоило. Нескончаемые часы европейских автострад стали для меня университетом искусства и литературы, где я никогда не учился. От Барселоны до Экс-ан-Прованса я выучил больше трехсот километров о замках катаров и авиньонских папах.



Я учился в Александрии и во Флоренции, в Неаполе и в Бейруте, в Египте и в Париже. Но самый загадочный урок в этих безумных путешествиях был получен, когда мы пересекали бельгийские поля, разреженные октябрьским туманом и запахом человеческого говна, исходящим с только что удобренных полей под паром.

Альваро был за рулем больше трех часов и, хотя в это никто не поверит, хранил полное молчание. Внезапно он сказал: «Страна великих велогонщиков и охотников». Он так и не объяснил нам, что он этим хотел сказать, но признался, что внутри его сидит огромный дурень, волосатый и слюнявый, который в минуты недосмотра выплевывает фразы вроде этой и во время более достойных посещений, даже в президентских дворцах, и ему приходится удерживать его в рамках, пока он пишет, потому что он сходит с ума, трясется и сучит ногами от неудержимого желания править его книги.

Но лучшие воспоминания в этой школе странствий я храню не об уроках, а о переменах. В Париже, в ожидании ушедших за покупками жен, Альваро уселся на ступеньках модного кафе, закинул голову к небу, уставился глазами куда-то вдаль и протянул свою дрожащую руку за подающим. Безупречно одетый господин сказал ему с типично французской сухостью: «Это наглость — просить милостыню в таком свитере из кашемира». Но дал ему один франк. Меньше чем за пятнадцать минут он собрал сорок франков.

В Риме, в доме Франческо Росси, он гипнотизировал Феллини, Монику Витти, Алиду Валли, Альберто Моравиа, сливки итальянского кино и литературы, и держал их в подвешенном состоянии несколько часов, рассказывая им свои жестокие истории о Киндио на своем придуманном итальянском, без единого итальянского слова. В баре в Барселоне он прочел вслух стихи Пабло Неруды заунывным голосом, и один человек, слышавший настоящего Неруду, попросил у него автограф, поверив, что это он.

Одно его стихотворение встревожило меня, как только я его прочел: «Сейчас я знаю, что никогда не увижу Стамбул». Станный стих неисправимого монархиста, никогда не говорившего: «Стамбул», только: «Византия», равно как не говорил: «Ленинград», только: «Санкт-Петербург», притом намного раньше, чем история признала его правоту. Не знаю, почему было мне знамение, что мы должны изгнать дьявола из этого стиха, поехав в Стамбул. И я уговорил его плыть на медленном судне, как и подобает, когда ты решил бросить вызов судьбе. Однако у меня не было ни минуты покоя все три дня, пока мы там находились, меня пугала

пророческая сила поэзии. Лишь сегодня, когда Альваро уже семидесятилетний старик, а я шестидесятишестилетний мальчишка, я осмеливаюсь сказать, что решился на это не для того, чтобы разрушить стих, а для того, чтобы противостоять смерти.

Кстати, в тот единственный раз, когда я на самом деле поверил, что на волоске от смерти, я тоже был с Альваро. Мы пересекали сияющий Прованс, когда сумасшедший водитель выехал к нам на встречу. У меня не было другого выхода, кроме как резко повернуть руль направо, не успев глянуть, куда мы свалимся. Одно мгновение у меня было потрясающее ощущение, что руль мне не повинуются и мы летим в пустоте. Кармен и Мерседес, как всегда на заднем сиденье, замерли, пока автомобиль не лег как ребенок на бок в придорожную канаву виноградника. Единственное, что я запомнил в тот миг, — это лицо Альваро, сидевшего рядом, смотревшего на меня за секунду до смерти с выражением сострадания, словно говоря: «Ну что творит этот тупица!»

Эти эскапады Альваро меньше удивляют тех из нас, кто знал и выносил его мать, Каролину Харамилью, потрясающе красивую женщину, которая ни разу не посмотрелась в зеркало после двадцати лет, потому что видела себя в нем не такой, какой ощущала. Будучи уже древней старушкой, она ездила на велосипеде в одежде охотника, делая бесплатно уколы на фермах саванны. В Нью-Йорке я попросил ее однажды вечером присмотреть за моим сыном четырнадцати месяцев, пока мы будем в кино. Она на полном серьезе предупредила нас, чтобы мы хорошо подумали, потому что в Манисалесе она оказала ту же услугу, оставшись с ребенком, который не переставал плакать, и ей пришлось заставить его замолчать, дав сладкую отравленную ежевику. Тем не менее на следующий день мы оставили на нее ребенка в торговом центре «Майсис», а когда вернулись, застали ее одну. Пока служба безопасности искала мальчика, она пыталась утешить нас с мрачным хладнокровием своего сына: «Не беспокойтесь. Альварито тоже потерялся у меня в Брюсселе, когда ему было семь лет, а теперь посмотрите, как все у него хорошо». Конечно, все у него было очень хорошо, ведь он был ее более культурным и возвеличенным изданием, его знало полмира, не столько по его поэзии, сколько потому, что он был самый приятный в мире человек. Где бы он ни бывал, он везде оставлял незабываемый след своих безумных закидонов, самоубийственных пиров, гениальных эскапад. Только мы, те, кто знает и любит его, понимаем, что это не более чем притворство, чтобы распугать своих призраков.

Никто не может представить себе, какую высочайшую цену платит Альваро Мутис за несчастье быть таким симпатичным. Я видел его

лежащим на диване, в полумраке студии, с такой тяжелой с похмелья головой, что ему не позавидовал бы никто из его вчерашних слушателей. К счастью, это его неизлечимое одиночество — словно вторая мать, которой он обязан беспредельной мудростью, необыкновенной способностью к чтению, бесконечным любопытством, а также фантастической красотой и бесконечным отчаянием поэзии.

Я видел, как он прятался в мире толстокожих симфоний Брукнера, словно это были дивертисменты Скарлатти. Я видел его в дальнем уголке сада в Куэрнаваке во время долгого отпуска, сбежавшего от реальности в зачарованный лес полного собрания сочинений Бальзака. Периодически, как некоторые смотрят ковбойские фильмы, он залпом перечитывает «В поисках утраченного времени». Потому что его главным условием чтения книги является ее размер: не меньше тысячи двухсот страниц. Он попал в мексиканскую тюрьму за преступление, которым наслаждаются многие художники и поэты, но лишь ему одному пришлось заплатить за него шестнадцатимесячным заключением, и эти месяцы он считает самыми счастливыми в своей жизни.

Я всегда думал, что причиной медлительности его творчества были его тиранические занятия. А еще я думал, что это из-за его ужасного почерка, словно он пишет гусиным пером, и из-за самого гуся, чьи повадки вампира заставили бы взвыть от ужаса легавых в туманах Трансильвании. Он сказал мне, когда я ему говорил об этом много лет назад, что как только уйдет на пенсию с галер, он тут же займется своими книгами. То, что это так и было, что он прыгнул без парашюта со своих вечных самолетов на твердую землю, окутанный огромной заслуженной славой, — одно из самых больших чудес нашей литературы: восемь книг за шесть лет.

Достаточно прочесть одну страницу любой из них, чтобы понять все: полное собрание сочинений Альваро Мутиса, сама его жизнь принадлежат ясновидцу, который точно знает, что мы никогда больше не найдем потерянный рай. Иными словами, персонаж его романа Макролл — это не только он, как утверждают. Макролл — это мы все.

Мы пришли сегодня отметить с Альваро его замечательное семидесятилетие — и отмахнуться от этого факта уже невозможно. Впервые без ложной скромности, без поминаний матери от страха заплакать, лишь для того, чтобы сказать ему от всего сердца, как мы восхищаемся им, черт возьми, и как мы его любим!

## Аргентинец, ставший всеобщей любовью

*Мехико, 12 февраля 1994 г.*

Последний раз я был в Праге в историческом 1968 году с Карлосом Фуэнтесом и Хулио Кортасаром. Мы ехали на поезде из Парижа, так как все трое были солидарны в своем страхе перед самолетами, и успели переговорить обо всем, пока пересекали разделенную ночь двух Германий, ее океаны свеклы, огромные заводы, производящие все на свете, разрушения чудовищных войн и безмерную любовь. Перед сном Карлосу Фуэнтесу пришло в голову спросить у Кортасара, как, когда и по чьей инициативе в джазовом оркестре появилось пианино. Вопрос был задан просто так, от нечего делать, и не претендовал на то, чтобы узнать что-либо, кроме даты и имени, но в ответ на него последовала блестящая кафедральная речь, продлившаяся до рассвета вперемежку с огромными кружками пива и сосисками с остывшей картошкой. Кортасар, прекрасно умеющий взвешивать свои слова, с невероятной простотой и умением преподнес нам полную историческую и эстетическую реконструкцию, закончив ее с первыми лучами солнца гомеровской апологией Телониуса Монка. Он говорил не только своим глубоким органом голосом с растянутым «р-р», но и ширококостными руками — я не помню других столь выразительных рук. Ни Карлос Фуэнтес, ни я никогда не забудем восторга той неповторимой ночи.

Двенадцать лет спустя я увидел Хулио Кортасара, противостоящего огромной толпе в парке Манагуа, единственным оружием были его прекрасный голос и один из его сложнейших рассказов: история бедствующего боксера, рассказанная им самим на лунфардо, диалекте самого дна Буэнос-Айреса, понимание которого было бы невозможно для всех других смертных, если бы сквозь множество злосчастных танго мы смутно не догадывались о смысле фраз. Но Кортасар сам сознательно выбрал именно этот рассказ, чтобы прочесть его с подмостков в большом освещенном саду перед толпой, в которой были все, от посвятивших себя поэзии и безработных плотников до команданте революции и их противников. Это был еще один восхитительный опыт. Хотя, строго говоря, даже для самых искушенных в жаргоне лунфардо было нелегко следить за смыслом рассказа, все словно ощущали на себе удары, которые получал Мантекилья Наполес, одиноко стоявший на ринге, и чуть не плакали из-за

его тщетных надежд и нищеты. Кортасар добился такой проникновенной связи со своей аудиторией, что уже никому не было важно, что он хотел или не хотел сказать словами — казалось, сидящая на траве толпа парила в воздухе, повинуюсь колдовству голоса, звучащего словно из другого мира.

Мне кажется, что эти два воспоминания о Кортасаре, так тронувшие меня, лучше всего позволяют понять его. Это были две крайности его личности. В интимной обстановке, как в том поезде в Прагу, ему удавалось соблазнять слушателей своим красноречием, живой эрудицией, дотошной памятью, рискованным юмором — всем, что сделало его великим интеллектуалом в хорошем смысле этого слова. В публичной сфере, несмотря на его нежелание устраивать спектакль, он завораживал аудиторию, словно в нем было нечто сверхъестественное, одновременно нежное и весьма странное. В обоих случаях он был для меня самым значительным человеком, которого я когда-либо знал.

Годы спустя, когда мы уже были старыми друзьями, я подумал, что снова увижу его таким, как видел в тот день, ибо мне показалось, что он воссоздал себя в одном из своих самых законченных рассказов, «Другое небо», в лице безымянного латиноамериканца в Париже, который из чистого любопытства посещал казни на гильотине. Словно стоя перед зеркалом, Кортасар так описывал его: «У него было отрешенное выражение лица и одновременно пристально любопытное. Лицо человека, который замер во сне и отказывается сделать шаг, который может вернуть его к бодрствованию». Его персонаж ходил в длинной черной мантии, похожей на пальто Кортасара, в котором я увидел его в первый раз, но рассказчик не осмеливался приблизиться к нему, чтобы спросить, откуда он, страшись холодного гнева, с которым он сам воспринял бы подобный вопрос. Самое странное, что я тоже не осмелился приблизиться к Кортасару в тот вечер в «Олд Нэви» из-за того же страха. Я видел, как он писал больше часа, не останавливаясь, чтобы подумать, и выпил лишь полстакана минеральной воды, а когда на улице стало темнеть, спрятал ручку в кармане и вышел с тетрадкой под мышкой, словно самый худой и высокий школьник в мире. Во многих наших последующих встречах единственное, что изменилось в нем, — это густая темная борода, и еще две недели назад легенда о его бессмертии казалась правдой, потому что он никогда не останавливался в развитии и всегда оставался в том же возрасте, в котором родился. Я никогда не осмелился спросить его, было ли это правдой, так же как не рассказал ему, что печальной осенью 1956 года я видел его, не осмелившись ничего ему сказать, в углу «Олд Нэви», и знаю, что где бы он ни был сейчас, он посылает меня по матушке за мою стеснительность.

Идолы вселяют уважение, восхищение, любовь и, конечно же, огромную зависть. Кортасар вызывал все эти чувства в числе весьма немногих писателей, но он также внушал другое, не столь частое чувство: преклонение. Быть может, вовсе не ставя себе такой цели, этот аргентинец стал всеобщей любовью. Однако я осмеливаюсь предположить, что если мертвые умирают, Кортасар должен снова умереть от стыда из-за всемирного горя, вызванного его смертью. Никто не боялся больше его, ни в реальной жизни, ни в книжках, посмертных почестей и пышных похорон. Более того: я всегда думал, что сама смерть казалась ему непристойной. В книге «Вокруг дня за восемьдесят миров» есть эпизод, в котором группа друзей не может сдержать смех перед той очевидностью, что один из их общих друзей впал в такую нелепость, как смерть. Именно потому, что я знал его и по-настоящему любил, я воспротивился как оплакиванию, так и восхвалению Хулио Кортасара.

Я предпочитаю и дальше думать о нем, как, вне сомнения, хотел он сам, с радостью от того, что он существовал и я был с ним знаком, с благодарностью за то, что он оставил нам и миру свои труды, быть может, незавершенные, но столь же прекрасные и нерушимые, как воспоминание о нем.

## Латинская Америка существует

*Контадора, Панама, 28 марта 1995 г.*

Я ждал до последнего, чтобы начать говорить, потому что еще вчера за завтраком я не знал ничего из того, что понял за прошедший день. Я заядлый собеседник, и эти состязания — просто безжалостные монологи, где запрещено наслаждаться вопросами и репликами. Кто-то записывает, просит слова, ждет, а когда приходит его очередь, то выясняется, что другие уже сказали все, что он собирался. Мой соотечественник Аугусто Рамирес сказал мне в самолете, что легко узнать, когда человек стал стариком: все, что рассказывает, он сопровождает анекдотическими случаями. Если это так, сказал я ему, то я родился стариком, и все мои книги старческие. Эти записки тоже тому свидетельство.

Первый сюрприз нам приготовил президент Лакалье своим откровением, что Латинская Америка — не французское название. Я всегда думал, что это так, но, сколько я ни старался, я так и не вспомнил, откуда я это взял, во всяком случае, я не могу этого подтвердить. Боливар не использовал этот термин. Он говорил «Америка» без прилагательных, пока североамериканцы не завладели этим названием, оставив его только для себя. И напротив, Боливар сжал в пять слов хаос нашей идентичности, чтобы определить ее в своем «Письме с Ямайки»: мы просто маленький человеческий род. Таким образом, он включил все оставшееся за рамками других определений: разнообразие происхождения. Наши чисто индейские языки и европейские индейские языки: испанский, португальский, английский, французский, голландский.

Однажды в сороковые годы жители Амстердама, проснувшись, услышали безумное известие, что Голландия участвует в чемпионате мира по бейсболу — а этот спорт чужд голландцам, — но дело в том, что Кюрасао чуть не выиграл чемпионат Центральной Америки и Карибского бассейна. Что касается Карибского бассейна, я думаю, его область обозначена неправильно, ибо на самом деле она должна быть не географическим, а культурным понятием. Она должна начинаться на юге Соединенных Штатов и простираться до севера Бразилии. Центральная Америка, которую мы считаем частью Тихоокеанского региона, имеет с ним мало общего, являясь частью карибской культуры. Реализация этого законного требования имела бы по крайней мере то преимущество, что

Фолкнер и другие великие писатели юга Соединенных Штатов стали бы частью братства магического реализма. Так же в сороковые годы Джованни Папини заявил, что Латинская Америка ничего не дала человечеству, даже ни одного святого, словно для него это такая мелочь. Однако он ошибался, у нас уже была святая Роза из Лимы, но он не учитывал ее, видимо, потому что она была женщиной. Его утверждение стало прекрасной иллюстрацией той идеи о нас, что всегда существовала у европейцев: то, что не похоже на них, априори кажется им ошибкой, и они делают все, чтобы исправить ее на свой манер, так же как и Соединенные Штаты. Симон Боливар, потеряв терпение после стольких советов и наставлений, сказал: «Оставьте нас спокойно жить в нашем средневековье».

Никто, как он, не страдал от давления Европы, уже бывшей архаичной по отношению к системе, которую ему предстояло выбрать: монархию или республику. Много написано о его мечтах короновать себя. Дело в том, что даже после американской и французской революций монархия еще не являлась таким анахронизмом, каким она кажется сегодняшним республиканцам. Боливар понимал это именно так и верил, что не важна система, лишь бы она служила мечте о независимой и единой Америке. Он говорил, что это будет самое великое, богатое и могущественное в мире государство. Мы уже были жертвой войны между догмами, которые до сих пор довлеют над нами, и нам напомнил об этом Серхио Рамирес: рушатся одни и возникают другие, даже если они являются всего лишь алиби, как выборы при демократии.

Хороший пример тому — Колумбия. Для легитимизации демократии достаточно того, что иногда у нас проходят выборы, ибо самое главное — это ритуал, и можно не слишком заботиться о его пороках: клиентелизм, коррупция, подлог, торговля голосами. Хайме Батеман, команданте М-19, рассказывал: «Сенатор избирается не шестьюдесятью тысячами голосов, а шестьюдесятью тысячами песо. Недавно в Картахене мне закричала на улице продавщица фруктов: «Ты должен мне шесть тысяч песо!» Оказалось, что она ошибочно проголосовала за кандидата, имя которого было похоже на мое, а потом поняла, что перепутала. Что мне оставалось делать? Я заплатил ей шесть тысяч песо».

Судьба боливарианской идеи интеграции вызывает все больше сомнений, кроме области искусства и литературы, где культурная интеграция продвигается самостоятельно и на свой страх и риск. Наш любимый Федерико Майор прав в своем беспокойстве по поводу молчания интеллектуалов, но не по поводу молчания людей искусства, которые в конечном счете являются не интеллектуалами, а просто чувствительными



людьми. Они выражают свои чувства криком от Рио-Браво до Патагонии в нашей музыке, нашей живописи, театре и танцах, в романах и телесериалах. Феликс Б. Кагнет, отец радиосериалов, сказал: «Я исхожу из того, что люди хотят плакать, и единственное, что я делаю, — даю им повод». Это самые простые и богатые формы народного выражения континентального полилингвизма. Задолго до того, как политическая и экономическая интеграция станут явью, процесс культурной интеграции будет необратимым. Это случится даже в Соединенных Штатах, тратящих целые состояния на культурное проникновение, в то время как мы без единого сентаво меняем им язык, еду, музыку, образование, образ жизни, любовь. То есть самое важное в жизни: культуру.

Одной из самых больших радостей, которую мне доставили эти два дня непрерывной работы, стала первая встреча с моим добрым соседом министром Франсиско Уэффортом, начавшим с того, что удивил всех своим безупречным испанским. В свою очередь, я спрашиваю себя, есть ли за этим столом хоть пара человек, говорящих по-португальски. Верно сказал президент Де ла Мадрид, что наш испанский не дает себе труда перепрыгнуть через Мату-Гроссу, в то время как бразильцы, объединив усилия нации, чтобы найти с нами взаимопонимание, создают портуньол, который может стать свободным языком объединенной Америки. Пачо Уэффорт, как мы назвали бы его в Колумбии, Панчо, как мы назвали бы его в Мексике, или Пако, как назвали бы его в любой таверне Испании, защищает министерство культуры, имея на то весьма серьезные основания. Я безуспешно и, быть может, к счастью, сопротивляюсь его учреждению в Колумбии. Моим основным аргументом является то, что оно будет способствовать приданию культуре официального характера и ее бюрократизации.

Но не стоит упрощать. Я отрицаю именно министерскую систему, становящуюся легкой добычей клиентелизма и политических манипуляций. Вместо этого я предлагаю создать Национальный совет по культуре — государственный, а не правительственный орган, ответственный перед президентом республики, а не перед конгрессом и потому не зависящий от частых министерских кризисов, дворцовых интриг и черной магии бюджета.

Благодаря прекрасному испанскому Панчо и несмотря на мой постыдный портуньол, мы сошлись на том, что не важно как, но государство должно принять на себя серьезную ответственность сохранить и расширить сферу культуры.

Президент Де ла Мадрид оказал нам большую услугу, затронув тему наркоторговли. Он сказал, что Соединенные Штаты ежедневно снабжают наркотиками от двадцати до тридцати миллионов наркоманов столь беспрепятственно, словно это молоко, газета или хлеб. Это возможно только при существовании мафии, более сильной, чем колумбийская, и при большей коррупции, чем в Колумбии. Проблема наркоторговли, конечно же, глубоко затрагивает и нас, колумбийцев. Мы уже почти единственные виновники существования наркоторговли, единственные виновники в том, что в Соединенных Штатах есть огромный рынок потребления, к несчастью которого процветает индустрия наркоторговли в Колумбии. У меня сложилось впечатление, что торговля наркотиками — проблема, выскользнувшая из рук человечества. Это не значит, что мы должны быть пессимистами и объявить о своем поражении, напротив, надо продолжать противостоять этой огромной и страшной проблеме, исходя из этой точки зрения, а не из фумигации.

Недавно я был с группой североамериканских журналистов на маленьком участке маковых посевов размером не больше трех или четырех гектаров. Нам устроили демонстрацию: фумигация с вертолетов, фумигация с самолетов. После третьего захода вертолетов и самолетов мы подсчитали, что это стоило уже больше стоимости участка. Ужасно сознавать, что таким образом наркоторговля никогда не будет побеждена. Я сказал некоторым североамериканским журналистам, которые были с нами, что эту фумигацию стоило бы начать с острова Манхэттен и мэрии Вашингтона. Я также упрекнул их в том, что они и весь мир знают, в чем состоит проблема наркотиков в Колумбии — как их сеют, как производят и экспортируют, — потому что мы, колумбийские журналисты, изучили проблему, публиковали на эту тему статьи и очерки, кричали о ней на весь мир. И напротив, ни один североамериканский журналист не удосужился рассказать нам, как поступают наркотики в Соединенные Штаты, как происходит их распространение и коммерциализация внутри страны.

Я думаю, все мы согласимся с выводом бывшего президента Лакалье о том, что искупление обеих Америк — в образовании. К тому же выводу мы пришли на Форуме размышлений ЮНЕСКО в прошлом году, где была выдвинута прекрасная идея «Дистанционного университета». Там мне пришлось еще раз обосновать идею раннего выявления способностей и призвания, столь необходимых миру. Она основана на том, что если ребенка поставить перед кучей различных игрушек, он рано или поздно выберет одну из них, и обязанность государства состоит в создании условий для того, чтобы эта игрушка осталась у ребенка надолго. Я

убежден, что эта формула является секретом счастья и долголетия. Чтобы каждый мог жить и делать только то, что ему нравится, с колыбели до могилы. В то же время, похоже, мы все согласны с необходимостью быть бдительными по отношению к тенденции государства отдалиться от образования и передать его в частные руки. Сокрушительным аргументом против этого является тот факт, что частное образование, хорошее или плохое, — это самая эффективная форма социальной дискриминации.

Хорошим завершением этой четырехчасовой эстафеты, которое может положить конец сомнениям в том, существует ли на самом деле Латинская Америка, стали слова, брошенные в начале обсуждения бывшим президентом Лакалье и Аугусто Рамиресом, словно осколочная граната. Судя по тому, что было сказано здесь за эти два дня, нет ни малейшего сомнения в том, что Латинская Америка существует. Быть может, ее эдипова судьба заключается в поиске своей идентичности, и найти ее навсегда станет нашей судьбой и творчеством, сделает нас отличными от всего мира. Разбитая и распыленная, еще не закончившая путь, в вечном поиске этики жизни, Латинская Америка существует. Доказательство? В эти дни оно у нас было: мы мыслим, следовательно, существуем.

## Иная сущность в ином мире

*Санта-Фе-де-Богота, Колумбия,  
12 апреля 1996 г.*

Впервые я услышал о военных, будучи совсем маленьким. Это был ужасающий рассказ моего дедушки о так называемой банановой бойне. Речь шла о расстреле демонстрации колумбийских рабочих «Юнайтед фрут компани», запертых на железнодорожной станции Сьенага. Мой дедушка, ювелир по профессии и либерал до мозга костей, заслужил звание полковника в Тысячедневной войне в рядах армии генерала Рафаэля Урибе Урибе и благодаря этим заслугам присутствовал при подписании мирного договора, положившего конец полувеку непрерывных гражданских войн. Напротив него с другой стороны стола сидел в качестве парламентария консерваторов его старший сын. Думаю, мое представление о рассказанной им банановой драме было самым сильным и запомнившимся впечатлением моих первых лет жизни. Настолько сильным, что и сейчас я вспоминаю его как идею фикс в моей семье и среди его друзей на протяжении всего моего детства, неким образом навсегда определившую нашу жизнь. Но, кроме того, это имело огромное историческое значение, потому что ускорило конец более чем сорокалетней гегемонии и, несомненно, повлияло на последующую историю Колумбии.

Однако лично меня это навсегда затронуло по другой причине, которая сейчас придется к слову: это был мой первый образ военных, и должно было пройти много лет не только для того, чтобы он начал меняться, но хотя бы для того, чтобы начать сводить его к реальному масштабу. В действительности, несмотря на мои сознательные усилия уйти от него, за все пятьдесят лет у меня была возможность поговорить лишь с несколькими военными, и лишь с очень немногими из них мне удалось быть открытым, искренним и непосредственным. Наши встречи всегда омрачало ощущение взаимной неуверенности, я никогда не мог преодолеть впечатление, что для них слова означали совсем не то, что для меня, и что по большому счету нам не о чем говорить.

Не думайте, что я был безразличен к этой теме. Напротив: я признаю, что это один из моих главных провалов. Я всегда спрашивал себя, в ком проблема, во мне или в военных, и как можно разрушить этот бастион непонимания. Это будет нелегко. Первые два года учебы на факультете

права в Национальном университете — когда мне было девятнадцать — моими сокурсниками были два армейских лейтенанта. (А я хотел бы, чтобы это был кто-нибудь из вас.) Они всегда приходили в одинаковой форме, безупречно сидевшей на их фигурах, всегда вместе и всегда пунктуальны. Они садились поодаль и были самыми серьезными и методичными студентами, но мне всегда казалось, что они живут в мире, отличном от нашего. Если кто-то обращался к ним, они были вежливы и любезны; но в рамках непобедимого формализма: они не говорили больше того, что у них спрашивали. В период экзаменов мы, гражданские, делились на группы по четыре человека, чтобы позаниматься в кафе, мы встречались на танцах по субботам, на студенческих драках, в тогдашних тихих винных погребках и мрачных борделях, но нигде даже случайно мы не натыкались на наших военных товарищей по учебе.

Невозможно было не думать о том, что они имели другое происхождение. Обычно дети военных становятся военными, они живут в своих кварталах, собираются в своих казино и клубах, их миры за закрытыми дверями. Редко можно было встретить их в кафе, еще реже в кино, они были окружены таинственным ореолом, позволявшим узнавать их даже одетыми в гражданское. Сам характер службы сделал их кочевниками, и это дало им возможность узнать всю страну до ее самых отдаленных уголков, изнутри и снаружи, как ни одному другому соотечественнику. При этом по их собственной воле у них нет права голоса. Желая иметь хорошие манеры, я вызубрил воинские звания и выучился распознавать их знаки отличия, чтобы не ошибиться в приветствии, и мне понадобилось больше времени, чтобы выучить их, чем чтобы потом забыть.

Некоторые друзья, знающие эти мои предрассудки, уверены, что этот визит — самое странное, что я сделал в моей жизни. Напротив, моя навязчивая идея о различных видах власти является больше чем литературной — она почти антропологическая — и живет с тех пор, как мой дедушка рассказал мне о трагедии Съенаги. Я много раз спрашивал себя, не отсюда ли идет тематическая линия, проходящая через все мои книги. Через книги: «Палая листва» — о выздоровлении народа после исхода с банановых плантаций, «Полковнику никто не пишет», «Проклятое время» — размышления об использовании военных в политических целях, через образ полковника Аурелиано Буэндиа, писавшего стихи в разгар своих тридцати трех войн, и Патриарха в возрасте двухсот с лишним лет, никогда не научившегося писать. От первой до последней из этих книг — и надеюсь, что во многих будущих — везде присутствует весь спектр

вопросов о характеристике власти.

Однако я полагаю, что начал по-настоящему осознавать все это, когда писал «Сто лет одиночества». Больше всего меня тогда вдохновляла именно возможность исторического предъявления прав жертвами трагедии вопреки официальной истории, провозгласившей ее победой закона и порядка. Но это оказалось невозможным: я не смог найти ни одного прямого или косвенного свидетельства о том, что убитых было более семи человек и что масштаб драмы не соответствовал тому, что жил в коллективном сознании. Впрочем, все это не преуменьшало значения катастрофы для страны.

Вы можете с полным основанием спросить у меня, почему вместо того, чтобы рассказать о ее истинном масштабе, я все преувеличил до трех тысяч убитых, которых перевозили в поезде из двухсот вагонов, чтобы сбросить в море. Причина тому, поэтический ключ к разгадке, проста: я работал в том измерении, где эпизод банановой бойни был уже не ужасным историческим фактом, а событием мифического масштаба, где жертвы не были одинаковыми, а палачи не имели ни лица, ни имени и, возможно, никто не остался невиновным. Из этого преувеличения мне явился старый Патриарх, тащивший свою одинокую кобылу во дворце, полном коров.

Да и как могло быть иначе? Единственный мифический образ, родившийся в Латинской Америке, — это военный диктатор конца прошлого — начала нынешнего века. Кстати, многие из них были либеральными каудильо, превратившимися в зверских тиранов. Я убежден, что если бы полковник Аурелиано Буэндия выиграл хоть одну из своих тридцати трех войн, он стал бы одним из них.

Однако когда исполнилась моя мечта описать последние дни освободителя Симона Боливара в книге «Генерал в своем лабиринте», я вынужден был наступить на горло собственной фантазии. Речь шла о земном человеке из плоти, невиданного масштаба, продолжавшем бороться против своего опустошенного тела, свидетелем чего была одна лишь его свита из молодых военных, сопровождавших его во всех войнах и оставшихся с ним до самой смерти. Я должен был знать, каким он был на самом деле и каким был каждый из них, и думаю, что точно обнаружил это в увлекательных и избобличающих письмах Освободителя. Со всей скромностью я считаю, что «Генерал в своем лабиринте» — это историческое свидетельство, обернутое в неотразимое парадное платье поэзии.

Об этих загадках литературы мне хотелось бы продолжить сейчас с вами диалог, начатый в эти дни другими друзьями. Те, кто поддержал его от

имени военных, знают, что мне не чужда эта важная идея и мое единственное желание — чтобы она воплотилась в жизнь. Каждый говорит о своей специальности. У меня нет никакой оригинальной идеи о литературе, и даже в ней я неисправимый эмпирик без всякого академического образования, но я чувствую себя способным призвать вас в не всегда мирную рать литературы. Для начала я хочу сказать вам всего одну фразу: «Я думаю, что жизнь всех нас стала бы лучше, если бы каждый из вас всегда носил книгу в своем ранце».

# Журналистика — лучшая в мире профессия

*Лос-Анджелес, США, 7 октября 1996 г.*

Какие способности и призвание должны иметь будущие журналисты? В колумбийских университетах ответ на этот вопрос был весьма категоричен: «Журналист — это не художник». В противовес этому размышления настоящей статьи основаны на моей уверенности в том, что печатная журналистика является самостоятельным литературным жанром. Но многие студенты и преподаватели факультетов журналистики не знают об этом или попросту не верят в это. Возможно, из-за этого студенты отвечают на вопрос о том, почему выбрали именно эту специальность, весьма путано. Один из них ответил: «Я решил пойти учиться на журналиста, потому что считаю, что средства массовой коммуникации больше скрывают информацию от людей, чем дают ее». Второй сказал, что «журналистика — это самый лучший путь к успешной политической карьере». Только третий утверждал, что его страсть информировать была сильнее, чем интерес быть информированным.

Пятьдесят лет назад, когда колумбийская пресса была в авангарде среди стран Латинской Америки, в стране не было факультетов журналистики. Профессию постигали в редакциях газет, в типографиях, в простых кафе, а также на пятничных вечеринках. Ведь журналисты всегда были вместе, делились друг с другом всем и были настолько фанатично преданы своей профессии, что говорили исключительно о ней. Работа подразумевала дружбу внутри своей группы, которая временами даже не оставляла места для личной жизни. Человечество для нас делилось на тех, кто учился на этих передвижных и страстных круглосуточных кафедрах, и тех, кому было скучно говорить всегда об одном и том же, кто лишь хотел стать журналистом или воображал себя таковым, но на самом деле не являлся им.

В то время единственными средствами массовой информации были радио и газеты. Радио долго не могло наступить на пятки печатной прессе, но когда у него появилось собственное лицо, оно настолько ошеломило, что моментально переманило аудиторию у печатных изданий. Телевидение тогда уже возвестило о себе как о волшебном изобретении, которое вот-вот



должно появиться, но все никак не появится, хотя его нынешнее господство было трудно даже вообразить. Международные звонки тогда можно было сделать только через телефонисток, и то не всегда получалось. До изобретения телетайпа и телекса единственными способами сообщения с людьми в других городах и странах были почта и телеграф. Между прочим, их сообщения всегда доходили до адресата.

Оператор радио с призыванием мученика должен был поймать новости мира среди космических шумов, в то время как редактор-эрудит компоновал их со всеми подробностями подобно реконструкции скелета огромного динозавра по одному позвонку. Запрещалась только интерпретация, бывшая священной привилегией главного редактора, — предполагалось, что редакторские статьи были написаны именно им, пусть даже это было и не так, почти всегда чистая каллиграфия заменяла неразборчивый почерк. Великие главные редакторы, такие как дон Луис Кано из «Эль Эспектадор», или широко известные обозреватели, такие как Энрике Сантос Монтехо (Калибан) из «Эль Тьемпо», имели своих собственных линотипистов для расшифровки почерка. Самым сложным и престижным разделом газеты была редакционная статья, ведь в те времена политика являлась невралгическим центром работы журналиста и сферой ее, газеты, наибольшего влияния.

### ***Журналистику изучают, занимаясь журналистикой***

Журналистика ограничивалась тремя большими разделами: новости, хроника и репортажи, а также редакционные статьи. Интервью еще не стало привычным жанром, живущим собственной жизнью. Его использовали исключительно как сырье для репортажей и хроник. Поэтому до сих пор в Колумбии принято говорить «репортаж» вместо «интервью». Самой неполноценной должностью в газете была репортерская, ибо она подразумевала быть подмастерьем и грузчиком. Оттуда надо было подниматься до капитанского мостика по лестницам верной службы и многолетних каторжных работ. Время и сама работа показывают, что нервная система журналистов движется против течения.

Для вступления в братство было достаточно желания стать журналистом, но даже дети владельцев семейных газет, составлявшие большинство, должны были доказать на практике свои способности. Все объяснял девиз: «Журналистику изучают, занимаясь журналистикой». В газеты приходили провалившиеся студенты с разных факультетов, даже

совсем иных специализаций, либо студенты в поисках работы, чтобы завершить свою учебу, а также представители других профессий, поздно обнаружившие свое настоящее призвание. Надо было иметь закаленную душу, ибо вновь прибывшие проходили через ритуалы инициации, словно на военно-морском флоте: жестокие насмешки, ловушки для проверки на сообразительность, быстроту реакции и хитрость, обязательное переписывание текста в агонии последних минут — великое творческое начало шутника. Эта школа была своеобразной фабрикой, которая безошибочно информировала и воспитывала, учила иметь свое мнение, работая в обстановке сотрудничества на принципах морали. Опыт показывал, что все можно было освоить в ходе работы при наличии сознательности, чувствительности, выдержки и порядочности журналиста. Сама журналистская практика требовала наличия определенного культурного уровня, а атмосфера на работе способствовала его поддержанию. Чтение было профессиональной дурной привычкой. Самоучки обычно любознательные и шустрые — и в наше время этих качеств с лихвой хватало для возвышения самой лучшей профессии в мире, как они сами называли журналистику. К примеру, Альберто Льерас Камарго, всю жизнь бывший журналистом и дважды — президентом Колумбии, не имел даже степени бакалавра.

С тех пор кое-что изменилось. В Колумбии сейчас в ходу около двадцати семи тысяч журналистских удостоверений, но большинство из них не принадлежит практикующим журналистам, они используются лишь для получения официальных привилегий: чтобы не стоять в очередях, бесплатно пройти на стадион или попасть на другие воскресные развлечения. Однако подавляющее большинство журналистов, в том числе и некоторые очень известные, выдающиеся, не имеют, не хотят иметь, да и не нуждаются в этих удостоверениях. Эти карточки придумали в то же время, когда были созданы факультеты журналистики, что стало реакцией на резонансный факт отсутствия академических основ у журналистики. Многие профессионалы не имели диплома, а если и имели, то в какой угодно сфере, кроме своей.

Студенты, преподаватели, журналисты, управляющие и администраторы, у которых я брал интервью для этой статьи, говорили об удручающей роли журналистской школы. «Заметно безразличие к теоретическому мышлению и концептуальным формулировкам», — отметила группа студентов, готовивших дипломы. «Часть ответственности за это несут преподаватели, которые навязывают нам обязательные тексты и фрагменты книг, злоупотребляя ксерокопиями отдельных глав книг и не

предлагая ничего собственного». Они заключили, к счастью, больше с чувством юмора, чем с горечью: «Мы являемся профессионалами ксерокса». Сами университеты признают вопиющие недостатки академического образования, особенно в области гуманитарных наук. Студенты заканчивают бакалавриат, не умея редактировать, имея большие пробелы в грамматике и орфографии, а также сложности с пониманием и осмыслением текста. Многие выходят из университета такими же, какими они туда поступили. «Они в тюрме поиска легких и бездумных путей, — сказал один преподаватель. — Когда им предлагаешь переделать и переосмыслить свою же собственную статью, они отказываются». Принято думать, что единственным интересом студентов является профессиональная работа как самоцель, в отрыве от реальности и жизненных проблем, а стремление быть главным действующим лицом для них важнее, чем внутренняя необходимость исследовать и работать. «Высокий статус для них — главная цель профессиональной жизни, — заключает университетский преподаватель. — Они не очень заинтересованы быть самими собой, духовно обогатиться в профессиональной практике, а хотят лишь окончить институт, чтобы улучшить свое социальное положение».

Большинство опрошенных студентов чувствуют себя разочарованными в учебе, они открыто обвиняют преподавателей в том, что те не воспитали в них достоинств, которые теперь от них требуются, в первую очередь любопытства к жизни. Одна выдающаяся журналистка, неоднократно получавшая премии, выразилась еще точнее: «Считается, что к моменту окончания бакалавриата студент должен научиться исследовать в разных областях и узнавать, что его в них интересует. Но на самом деле все по-другому: надо просто уметь хорошо повторить все, чему тебя учили, чтобы сдать экзамены». Некоторые считают, что массовость испортила образование, что школы были вынуждены следовать порочному пути лишь передавать информацию вместо формирования личности, что сегодняшние таланты — это результат индивидуальных усилий отдельных людей и даже борьбы против школы. Также думают, что очень мало преподавателей в своей работе делают упор на способности и призвание своих студентов. «Это трудно сделать, потому что обычно преподавание сводится к повторению повторенного, — заметил один учитель. — Простая неопытность, непосредственность предпочтительнее закостенелости преподавателя, который двадцать лет читает один и тот же курс». Результат весьма печален: молодые люди выходят из университетов с иллюзиями, что у них вся жизнь впереди, но становятся журналистами только тогда, когда

получают возможность изучить все заново на практике в журналистской среде.

Некоторые кичатся тем, что могут прочесть вверх ногами секретный документ на столе министра, записать случайные беседы без ведома собеседника или выложить в новостях конфиденциальный разговор. Самое страшное — то, что эти этические нарушения вызваны чересчур лихим представлением о профессии, они совершаются сознательно и даже с гордостью, основанной на сакральной идее быть первым любой ценой, несмотря ни на что: так называемый синдром слухов. Их не смущает мысль о том, что настоящее первенство означает умение подать новость лучше, а не подать ее первым. Противоположная точка зрения состоит в восприятии журналистики как теплого кресла бюрократа, ее сторонники подавлены бездушной технологией, не замечающей их самих.

### ***Призрак бродит по миру: диктофон***

До изобретения диктофона в профессии журналиста прекрасно обходились тремя необходимыми инструментами, на самом деле сводившимися к одному: записной книжке, твердой этике и паре ушей, которые репортеры использовали, чтобы услышать все сказанное. Первые диктофоны были тяжелее пишущих машинок и записывали на катушки намагниченной проволоки, которая запутывалась, как швейные нити. Прошло некоторое время, пока журналисты не начали их использовать, чтобы облегчить запоминание, более того, некоторые возложили на них тяжкую ответственность запоминать и думать вместо себя. На самом деле профессиональное и этическое использование диктофона пока еще дело будущего. Кто-то должен объяснить журналистам, что диктофон не заменяет память, он является лишь результатом эволюции скромного блокнота, столь верно служившего им на заре профессии. Диктофон слышит, но не слушает, записывает, но не думает, он верен, но у него нет сердца, и, наконец, его дословная версия не заслуживает такого же доверия, как человек, внимательно слушавший живые слова своего собеседника и оценивший их своим умом и с точки зрения морали. Огромным преимуществом магнитофонной записи является дословная и немедленная передача информации, но при этом многие не слушают ответов, потому что уже думают над следующим вопросом. Для редакторов газет расшифровка записей является крещением огнем: они не разбирают звуки слов, спотыкаются на семантике, терпят кораблекрушение с орфографией и

умирают от инфаркта из-за синтаксиса. Возможно, решение заключается в том, чтобы вернуться к скромной записной книжке, чтобы журналист редактировал текст сам, своим умом (и, конечно, талантом) по мере того, как записывает во время слушания.

Диктофон виноват в порочном возвеличивании интервью. Радио и телевидение в силу своей природы превратили интервью в важнейший жанр, но, похоже, печатная пресса также разделяет ошибочное представление о том, что голос правды больше принадлежит журналисту, чем его собеседнику. Печатное интервью всегда было диалогом журналиста с человеком, которому есть что сказать, который может и поразмышлять о событии. Репортаж был тщательной и правдивой реконструкцией реально произошедших событий, чтобы публика узнавала о них так, словно присутствовала там. Репортаж и интервью — родственные и дополняющие друг друга жанры, ни один из них не должен исключать другого. Однако информационную и обобщающую силу репортажа может превзойти лишь первичное и главное звено профессии, оно одно может молниеносно осветить событие, сказав о нем все: это кадр. Таким образом, нынешняя проблема реализации профессии и обучения ей состоит не в смешении или уничтожении ее исторически существовавших жанров, а в определении для каждого из них нового места и новой ценности в каждом СМИ. И надо всегда иметь в виду позабытую вещь: расследование не является специализацией в этой профессии, но вся журналистика должна быть расследованием и исследованием по определению.

Важным шагом вперед в последние полвека стало появление комментариев и мнений в новостях и репортажах, а редакционные статьи обогатились информацией, фактами и прочими данными. Когда это не разрешалось, новость была простой и сильной заметкой, наследницей доисторических телеграмм. Теперь, напротив, нам навязан формат сообщений международных информационных агентств, облегчающий совершение труднодоказуемых злоупотреблений. Излишнее использование кавычек в ложных и правдивых заявлениях позволяет рождаться нечаянным и умышленным ошибкам, злонамеренным манипуляциям и ядовитым искажениям, придающим новости силу смертельного оружия. Ссылки на достоверные источники, такие, как хорошо информированные лица или высшие чиновники, просившие не упоминать их имени, всезнающие эксперты, которых никто не видел, скрывают всякого рода безнаказанные оскорбления, потому что автор окопался в своем праве не раскрывать источник. С другой стороны, в Соединенных Штатах процветают такие новостные злоупотребления: «Продолжают считать, что

министр снял драгоценности с трупа жертвы, но полиция это отрицает». Здесь нечего больше сказать: вред уже нанесен. В любом случае утешением послужит предположение, что многие из этих и других этических нарушений, за которые стыдно сегодняшней журналистике, не всегда совершаются из-за аморальности, но также из-за профнепригодности.

### *Эксплуатация человека модулем*

Похоже, проблема в том, что профессия не смогла эволюционировать с той же скоростью, что ее инструменты, и журналисты на ощупь искали путь в лабиринте технологии, внезапно взорвавшей будущее. Университеты сочли это ошибками образовательной системы и создали школы, где изучалась не только печатная пресса, но и все остальные СМИ. Обобщение затронуло даже скромное название профессии, которое она носила со времени своего появления в XV веке, и теперь она называется не «журналистика», а «науки коммуникации» или «социальная коммуникация». Для журналистов-эмпириков прошлого это словно зайти в душ и обнаружить там своего отца переодетым в космонавта.

В колумбийских университетах существуют четырнадцать факультетов, дающих степень бакалавра, и две магистратуры по специальности «науки коммуникации». Это подтверждает растущую озабоченность качеством подготовки специалистов, но также оставляет ощущение академического болота, удовлетворившего многие нужды современного образования, но не самые важные из них: творчество и практика.

Перспективы профессии и занятости, которые предлагаются абитуриентам на бумаге, выглядят идеализированными. Теоретический импульс, идущий от преподавателей, исчезает при первом столкновении с реальностью, и тщеславие диплома не спасает их от катастрофы. По правде говоря, они должны были выходить готовыми к владению новыми техниками, а получилось наоборот: их тащат за собой технологии, давит груз, совсем не как в их мечтаниях. На своем пути они сталкиваются с самыми разными интересами, и у них не остается ни времени, ни душевных сил думать, и еще меньше — чтобы продолжать учиться.

В рамках этой академической логики тот же вступительный экзамен, что сдают на специальность инженера и ветеринара, некоторые университеты требуют сдать и в программе социальной коммуникации. Однако один успешно работающий выпускник сказал без обиняков: «Я

научился журналистике, когда начал работать. Конечно, университет дал мне возможность написать мои первые статьи, но методологии я научился только по ходу работы». Это будет нормально, пока не признают, что жизненно важной основой журналистики является творчество, поэтому она должна оцениваться так же, как творчество людей искусства.

Другим критическим пунктом является то, что технологический блеск предприятий не соответствует условиям труда, и еще менее — механизмам участия, которые укрепляли дух в прошлом. Редактирование является стерильной лабораторией, разделенной на части, где легче установить связь с космическими явлениями, чем с сердцами читателей. Дегуманизация идет быстрыми темпами. А профессия, которая раньше была вполне определенной и имела конкретные отличительные черты, сегодня непонятно, где начинается, где заканчивается и куда ведет.

Всех охватило беспокойство и страстное желание, чтобы журналистика восстановила свой былой престиж. Больше всего в этом нуждаются хозяева СМИ, самые заинтересованные лица, которых больше всего ударяет ее дискредитация. Факультеты социальной коммуникации являются мишенью едкой критики, и не всегда без оснований. Возможно, корень их неудач в том, что они учат многим вещам, полезным для профессии, но не самой профессии. Возможно, они должны настоять на программе с гуманитарной направленностью, пусть менее амбициозной и не окончательной, чтобы гарантировать наличие культурного уровня, которого не имеют студенты бакалавриата. Они должны были бы обращать больше внимания на способности и призвание студентов и, быть может, выделить отдельные специальности для различных видов СМИ, ибо невозможно овладеть всеми ими в течение одной жизни. Магистратуры для беглецов из других профессий кажутся также очень подходящими для специализации журналистов в области новых технологий, ибо очень многое изменилось в стране с тех пор, как двести четыре года назад дон Мануэль дель Сокорро Родригес напечатал первый новостной листок.

Однако конечной целью должны стать не дипломы и удостоверения, а возвращение к первоначальному способу обучения, когда небольшие группы работали в практических мастерских, критически используя исторический опыт в рамках государственной службы. Сами средства массовой информации в своих же интересах должны были бы способствовать этому, как это пытаются сейчас сделать в Европе.

Это можно делать в редакционных кабинетах, или в своих мастерских, или по специально созданным сценариям, подобно авиатренажерам, где воспроизводятся все инциденты, которые могут произойти во время полета,

чтобы студенты учились обходить препятствия до того, как столкнутся с ними в реальной жизни. Ведь журналистика — это неутолимая страсть, которую можно принять и сделать гуманной лишь в ожесточенном столкновении с реальностью. Тот, кто никогда не страдал от этой страсти, не может представить себе рабство, в которое она ввергает из-за жизненных перипетий. Тот, кто не пережил ее, не может даже вообразить это необыкновенное предощущение эксклюзива, вожделения быть первым, подобно предчувствию оргазма, и сокрушительного отчаяния в случае провала. Тот, кто не родился для этого и не готов за это умереть, не может оставаться в этой профессии, столь необъяснимой и всепоглощающей, где труд заканчивается после каждой новости, словно навсегда, и не дает ни минуты покоя, пока ты с новым пылом не примешься за дело буквально через минуту.



## Бутылку — в море, для бога слов

*Сакатекас, Мексика, 7 апреля 1997 г.*

В двенадцать лет меня чуть не сбил велосипед.

Проходящий мимо священник спас меня своим криком: «Осторожно!» Велосипедист упал на землю. Священник не останавливаясь сказал мне: «Видишь, что значит сила слова?» В тот день я узнал об этом. Сейчас мы знаем, что майя знали об этом с начала новой эры и придавали этому такое значение, что у них был даже бог слов.

Сегодня сила слова велика как никогда. Человечество вступает в третье тысячелетие, будучи во власти империи слов. Неправда, что образы и картинки вытесняют слова и могут их вообще уничтожить. Напротив, они лишь усиливают их: в мире никогда не было столько слов такой силы, мощи и свободы, как в огромном современном Вавилоне. Слова придуманные, изувеченные или сакрализованные прессой, книгами-пустышками, рекламными плакатами; эти слова произносят и поют по радио, телевидению, по телефону, в микрофоны; их громко кричат на улицах или шепчут на ухо в полумраке любви. Нет, великий проигравший — это молчание. У вещей сейчас столько названий на стольких языках, что уже нелегко узнать, как же и на каком языке они называются. Языки распыляются и отделяются от материнского, смешиваются и запутываются, устремляясь к неизбежной судьбе всеобщего языка.

Испанскому языку надо готовиться к великой роли в этом будущем без границ. Это его историческое право. Он владеет им не из-за экономического господства, как другие современные языки, а из-за своей жизненной силы, творческой динамики, обширного культурного опыта, быстроты и силы экспансии на собственной территории девятнадцать миллионов квадратных километров и с четырьмястами миллионами жителей к концу этого столетия. Один преподаватель испанского в Соединенных Штатах резонно заметил, что его уроки уходят на то, чтобы быть переводчиком между латиноамериканцами из разных стран. Обратите внимание, что глагол «pasar» (проходить) имеет пятьдесят значений, в Республике Эквадор мужской сексуальный орган имеет сто пять названий, напротив, слово «condoliente» (сочувствующий), понятное само по себе и столь необходимое нам, все еще не придумано. Одного молодого французского журналиста ослепляют поэтические находки, которые он

делает на каждом шагу в нашей домашней жизни. Ребенок, который не мог уснуть из-за прерывистого и печального бляения барашка, сказал: «Он похож на маяк». Маркитантка из колумбийской Гуахиры отказалась отваривать лимонник, потому что учуяла в нем запах Святой пятницы. А дон Себастьян де Коваррубиас в своем достопамятном словаре собственноручно оставил запись, что желтый — это цвет(а) («la color») влюбленных. Сколько раз мы сами пробовали кофе, пахнувший окном, хлеб с запахом угла и пиво, пахнущее поцелуем? Это словно проверка опыта языка, который уже давно не помещается в своей шкуре. Но наш вклад должен состоять не в том, чтобы загнать его туда обратно, а, напротив, освободить от железных стандартов, чтобы он вошел в грядущий век, как святой Петр к себе в дом.

В этом смысле я осмелился бы подсказать этой мудрой аудитории, что нам стоит упростить грамматику, прежде чем грамматика окончательно упростит нас. Давайте гуманизируем ее правила, научимся этому у индейских языков, которым мы стольким обязаны и у которых мы много чему еще можем научиться, обогатив себя. Давайте скорее усвоим технические и научные неологизмы, пока они не вызвали у нас несварения желудка, начнем переговоры с варварскими герундиями, эндемическими «что (qué)», паразитическими «что», и вернем же (devuélvanlos) нашему сослагательному наклонению его блеск, перенеся ударение с третьего слога от конца на первый: váyamos вместо vayamos, cantemos вместо cantemos, или гармоническое tuéramos вместо зловещего tiramos. Отправим на пенсию орфографию, ставшую с колыбели ужасом любого человеческого существа: похороним наскальные «h», подпишем договор о границах между «g» и «j» и будем разумнее использовать ударения при письме, ведь, в конце концов, никто не прочтет «lagrima» там, где написано «lágrima» и не перепутает «revólver» с «revolver». А как насчет нашего «b» осла (burro) и нашей «v» коровы (vaca), которых привезли нам испанские дедушки, словно это две буквы, одна из которых явно лишняя?

Конечно, эти вопросы заданы наобум, словно бутылки, брошенные в море в надежде, что они приплывут к богу слов. Если бы не эти дерзости и безрассудства, то как он, так и мы с полным правом прекратим жаловаться на то, что меня вовремя не задавил тот судьбоносный велосипед в мои двенадцать лет.

## Иллюзии для XXI века

*Париж, Франция, 8 марта 1999 г.*

Итальянский писатель Джованни Папини разъярил наших дедов в сороковые годы ядовитой фразой: «Америка сделана из отходов Европы». Сегодня у нас есть не только причины подозревать, что это так, но и нечто более печальное: мы знаем, что это наша вина.

Симон Боливар предвидел это и хотел привнести в нас сознание собственной идентичности в гениальной строке своего «Письма с Ямайки»: «Мы просто маленький человеческий род». Он мечтал и говорил о том, что мы должны стать великой родиной, самой сильной и единой на земле. В конце своих дней, уязвленный долгами англичанам, не оплаченными нами до сих пор, измученный французами, пытавшимися продать ему последний хлам своей революции, он, выйдя из себя, взмолился: «Оставьте нас спокойно жить в нашем средневековье». В конце концов, мы стали лабораторией несбывшихся иллюзий. Наше главное достоинство — наша творческая энергия, однако мы занимались лишь тем, что жили слегка подогретыми доктринами и чужими войнами, наследники неудачливого Христофора Колумба, случайно нашедшего нас в поисках Индии.

Еще несколько лет назад нам было легче познакомиться в Латинском квартале Парижа, чем в любой из наших стран. В кафе Сен-Жермен-де-Пре мы обменивали серенады Чапультепака на штормовые ветра Комодоро Ривадавия, рыбную похлебку из конгрио Пабло Неруды на карибские закаты и тоску об идиллическом дальнем мире, где мы родились, даже не спросив себя, кто мы такие. Сегодня, и мы уже видим это, никто не удивляется, что нам пришлось пересечь Атлантику, чтобы встретиться в Париже с самими собой.

Вам, мечтателям моложе сорока лет, выпала историческая задача исправить эту чудовищную несправедливость. Помните, что все в этом мире, от пересадки сердца до квартетов Бетховена, рождалось и существовало в головах своих создателей, прежде чем стать реальностью. Не ждите ничего от XXI века, это XXI век всего ждет от вас. Этот век не придет сделанным на фабрике, он будет готов к тому, чтобы быть выкованным вами, по нашему образу и подобию, и он будет таким мирным и нашим, каким вы сможете его себе представить.

## Любимая, хотя и далекая родина

*Медельин, Колумбия, 18 мая 2003 г.*

«Все бури, обрушивающиеся на нас, являются знаками того, что скоро погода наладится и с нами случится что-то хорошее, потому что ни зло, ни добро не могут длиться долго, и отсюда следует, что если зло длилось долго, то добро уже близко».

Это прекрасное изречение дона Мигеля де Сервантеса, разумеется, принадлежит не сегодняшней Колумбии, а его времени. Но мы никогда и не мечтали о том, что оно придется нам впору, как кольцо на палец, так что лучше и не пытаться сетовать. Спектральный анализ нынешней Колумбии не позволяет поверить в то, что было так прекрасно сказано доном Мигелем, словно он наш сегодняшний соотечественник. Двух примеров достаточно, чтобы избавиться от иллюзий. В прошлом году около четырехсот тысяч колумбийцев были вынуждены оставить свои жилища из-за виоленсии, насилия, так же как это сделали почти три миллиона человек за прошедшие полвека. Эти изгнанники образовали ядро другой дрейфующей в тумане страны — почти такой же населенной, как Богота, и большей, чем Медельин, она вращается по кругу в поисках места выживания, не имея при себе ничего, кроме своей одежды. Парадокс состоит в том, что эти беглецы от самих себя продолжают оставаться жертвами насилия, опирающегося на два самых рентабельных в мире бессердечных бизнеса: наркоторговлю и нелегальную продажу оружия.

Это первые признаки бурного моря, затапливающего Колумбию. Две страны в одной, не только разные, но и противоположные, на колоссальном черном рынке, питающем торговлю наркотиками, о чем можно только мечтать в Соединенных Штатах и Европе и в конечном счете во всем мире. Дело в том, что невозможно представить себе конец виоленсии в Колумбии без уничтожения наркоторговли, и невозможно представить конец наркоторговли без легализации наркотиков, ибо пока чем больше ее запрещают, тем больше она процветает.

Четыре десятилетия всевозможных потрясений общественного порядка поглотили не одно поколение маргиналов, которые не знали иного образа жизни, кроме преступной или подрывной деятельности. Писатель Морено Дуран сказал об этом очень точно: без смерти в Колумбии незаметно признаков жизни. Мы рождаемся подозрительными и умираем

виновными. Разговоры о мире, с небольшими, но памятными исключениями, много лет назад превратились в кровавые разборки. Мы все с рождения наделены презумпцией виновности. И в любом международном вопросе, начиная от обычной туристической поездки до простой покупки или продажи, мы, колумбийцы, вынуждены начинать с доказательства своей невиновности. Политическая и социальная атмосфера никогда не способствовали установлению мира на нашей родине, о котором мечтали деды. Сама Колумбия слишком рано стала режимом неравенства, конфессионального образования, пещерного феодализма и централизма, укоренившегося в столице под облаками, отдаленной и погруженной в себя, где царили две вечные партии, выборы были кровавыми и подтасованными, а антинародные правительства спешили сменить друг друга. Подобные амбиции могли поддерживаться лишь двадцатью девятью гражданскими войнами и тремя военными переворотами, осуществленными обеими партиями, в социальной среде, словно выдуманной дьяволом для сегодняшних бед, на угнетенной родине, которая среди стольких невзгод научилась быть счастливой без счастья и даже вопреки ему.

Так мы дошли до той точки, где едва можем выжить, но остались еще инфантильные души, смотрящие на Соединенные Штаты как на спасительную путеводную звезду, уверенные в том, что в наших странах уже закончились даже судорожные предсмертные вздохи. Однако все, что они там видят, — это слепая империя, которая уже не считает Колумбию ни добрым соседом, ни даже дешевым и верным сообщником, а лишь еще одним пространством для своей имперской алчности.

Два природных таланта помогли нам обойти вакуум в наших культурных условиях, начать на ощупь поиски своей идентичности и найти правду в тумане неизвестности. Один из этих талантов — творческое воображение. Другой — ясное определение личного продвижения. Оба этих достоинства изначально подпитывались хитростью и лукавством коренных жителей, направленных против испанцев с самого первого дня их высадки. Конкистадоров, одурманенных рыцарскими романами, заманивали легендами о сказочных городах, построенных из чистого золота, или легендой о короле изумрудной лагуны, одетом в золотую одежду. Эти шедевры творческого воображения, помноженного на магические средства, помогали нашим предкам уцелеть при захватчиках.

Около пяти миллионов колумбийцев, живущих сегодня за границей, сбежав от несчастий, не имея иного оружия или щита, кроме своего безрассудства или таланта, продемонстрировали, что все эти доисторические хитрости продолжают жить в нас, помогая выжить по тем

или иным причинам. Достоинство, которое выручает нас, — это то, что мы не умираем от голода по мановению воображения, ведь мы смогли стать факирами в Индии, учителями английского в Нью-Йорке и погонщиками верблюдов в Сахаре.

Как я пытался показать в некоторых, если не во всех своих книгах, я больше доверяю этим нелепостям реальной жизни, чем теоретическим мечтаниям, которые в большинстве случаев лишь служат угрызениям нечистой совести. Поэтому я считаю, что у нас осталась глубинная страна, которую нам еще предстоит открыть среди катастрофы, та таинственная Колумбия, которая уже не помещается в муляжи, слепленные нами в безумии нашей истории. Поэтому неудивительно, что мы начали предчувствовать подъем художественного творчества колумбийцев и осознавать себя здоровой страной, окончательно уяснившей себе, кто мы такие и для чего существуем. Я думаю, что Колумбия учится выживать с нерушимой верой, и ее главная заслуга в том, что она становится лишь сильнее в противостоянии. Она была децентрализована исторически существовавшим насилием, но все еще может воссоздать свое величие благодаря своим бедам.

Прожив сполна, испытав это чудо, мы сможем понять точно и навсегда, в какой стране мы родились, и продолжать жить, не умирая между двумя противоположными реальностями. Поэтому меня не удивляет, что в эти времена исторических катастроф улучшается здоровье страны и новое сознание. Переоценивается народная мудрость, и мы ждем ее, не усевшись на пороге дома, а стоя посреди улицы, и, быть может, сама страна еще не ощущает, что мы все превозможем и найдем спасение там, где не ожидали.

Ни один повод не показался мне столь подходящим, чтобы выйти из вечного ностальгического подполья моей мастерской и наметить эти рассуждения по случаю двухсотлетия Университета Антиокии, которое мы отмечаем сегодня как историческую дату для всех нас. Это удобный повод, чтобы начать сначала и как никогда любить страну, которую мы заслуживаем, — но чтобы она также заслуживала нас. Даже из-за одного этого я осмелился бы поверить, что иллюзия дона Мигеля Сервантеса сейчас настолько жива, что поможет заметить первые лучи света нового времени, что добро переживет довлевшие над нами беды, и только наше неистребимое творческое начало позволит нам различить, какой из многих неясных путей выбрать, чтобы жить в мире среди живых и по праву вечно наслаждаться им.

Да будет так.

## Душа, открытая речам на испанском

*Картахена-де-Индиас, Колумбия,  
26 марта 2007 г.*

В те дни, когда я писал «Сто лет одиночества», даже в самых безумных мечтах я не мог себе представить, что когда-нибудь буду присутствовать на этом торжественном акте в честь выхода миллиона экземпляров этой книги. Представить себе, что миллион человек сможет прочесть то, что я написал в своей комнатухе в одиночестве с помощью двадцати восьми букв алфавита и двух пальцев в качестве всего наличного арсенала, при любом раскладе показалось бы мне безумием. Сегодня Академии языка совершили этот жест по отношению к роману, оказавшемуся перед глазами пятидесяти миллионов читателей и перед таким бессонным ремесленником, как я, все еще удивленным тем, что с ним случилось такое чудо.

Но дело вовсе не в признании писателя. Это чудо является бесспорным подтверждением того, что есть огромное количество людей, готовых читать рассказы на испанском языке, и потому миллион экземпляров «Ста лет одиночества» — это не миллион чествований писателя, получившего сегодня, сделавшись пунцовым от смущения, первую книгу этого необыкновенного тиража. Это доказательство того, что есть читатели книг на испанском языке, испытывающие голод по этой пище.

Не знаю точно, в котором часу начался путь к этому чуду. Знаю лишь, что с семнадцати лет и до сегодняшнего утра я не делал ничего иного, кроме того, что каждый день рано вставал и садился за клавиатуру, чтобы заполнить чистую страницу или экран компьютера, стремясь написать, рассказать еще никем не рассказанную историю, которая сделает счастливее жизнь несуществующего читателя.

В моей писательской рутине с тех пор ничего не изменилось. У меня так и не появилось ничего, помимо двух указательных пальцев, выстукивающих двадцать восемь букв все того же алфавита, стоящих у меня перед глазами все эти семьдесят с лишним лет. Сегодня мне пришлось приподнять голову, чтобы присутствовать на этом празднестве, за которое я вам благодарен, и не могу сделать больше ничего, кроме как остановиться и задуматься о том, что со мной произошло. Я вижу, что несуществующий читатель моих чистых страниц сегодня превратился в несметные толпы,

открытые чтению на испанском языке.

Читатели «Ста лет одиночества» сегодня являются сообществом, которое, собравшись вместе, сравнялось бы численностью с одной из двадцати самых населенных стран мира. Речь идет не о самодовольном утверждении. Напротив. Я всего лишь хочу показать, что есть огромное количество людей, продемонстрировавших своей привычкой к чтению, что их душа открыта для историй на испанском. Это вызов всем писателям, поэтам, рассказчикам, которые могут утолить эту жажду и умножить эту толпу, и это является истинным смыслом нашего призвания, да и нас самих.

В свои тридцать восемь лет, имея уже четыре опубликованные книги, я уселся за пишущую машинку и начал: «Пройдет много лет, и полковник Аурелиано Буэндиа, стоя у стены в ожидании расстрела, вспомнит тот далекий вечер, когда отец взял его с собой посмотреть на лед». Я понятия не имел, ни что означает эта фраза, ни откуда она взялась, ни куда она должна меня привести. Единственное, что я знаю сегодня, — это то, что я писал без остановки восемнадцать месяцев, пока не закончил книгу.

Трудно поверить, что одной из моих самых жгучих проблем была бумага для пишущей машинки... Я был так плохо воспитан, что думал, будто механические или грамматические ошибки на самом деле были творческими, и каждый раз, когда их обнаруживал, рвал листок и бросал его в мусорную корзину, чтобы начать заново. Я подсчитал, что с той скоростью, которую я приобрел за год практики, мне нужно было шесть месяцев работы по утрам, чтобы закончить книгу.

Эсперанса Арайса, незабываемая Груша, была машинисткой поэтов и кинематографистов, набело перепечатававшей великие труды мексиканских писателей. Среди них были «Самый прозрачный регион» Карлоса Фуэнтеса, «Педро Парамо» Хуана Рульфо. Когда я предложил ей перепечатать набело финальный вариант, роман представлял собой черновик, изрешеченный поправками, сделанными вначале черными, а затем красными чернилами во избежание путаницы. Но это было не страшно для женщины, ко всему привыкшей в этой клетке сумасшедших. Несколько лет спустя Груша призналась мне, что когда она несла домой последнюю исправленную мной версию, она поскользнулась на выходе из автобуса из-за дождя, похожего на настоящий потоп, и страницы остались плавать в грязной луже. Она собрала с помощью других пассажиров часть из них мокрыми и почти нечитаемыми, высушив затем дома листок за листком горячим утюгом.

Темой другой, лучшей книги могло бы стать то, как мы выживали с Мерседес и двумя нашими детьми все эти месяцы, когда я не заработал ни



одного сентаво. Не представляю себе, как Мерседес удалось сделать, что мы ни на один день не оставались без еды в доме. Мы сопротивлялись искушению взять заем под проценты, но в конце концов скрепя сердце совершили наши первые набеги на ломбард.

После кратковременных облегчений от сдачи мелких вещей нам пришлось прибегнуть к помощи драгоценностей, которые Мерседес много лет назад подарили родственники. Эксперт осмотрел их со скрупулезностью хирурга миллиметр за миллиметром, разглядывая сквозь волшебное стекло изумрудное ожерелье, перстни с рубинами, и наконец вернул их легким движением тореадора: «Все это просто стекло»...

На пике безденежья, в момент самых больших трудностей Мерседес сделала свои астральные подсчеты и заявила многострадальному домовладельцу, с уверенностью, без малейшей дрожи в голосе:

— Мы сможем заплатить вам все сразу через шесть месяцев.

— Простите, сеньора, — сказал ей собственник, — но вы отдаете себе отчет, что тогда это станет огромной суммой?

— Я отдаю себе отчет, — невозмутимо отвечала Мерседес, — но тогда у нас будет все решено. Будьте спокойны.

У нашего хозяина, бывшего высоким государственным чиновником и одним из самых элегантных и терпеливых людей из всех, кого мы знали, также не дрогнул голос при ответе:

— Прекрасно, сеньора, вашего слова мне достаточно. Я подожду шесть месяцев.

Наконец, в начале августа 1966 года, мы с Мерседес пошли в почтовое отделение в Мехико, чтобы отправить в Буэнос-Айрес законченную версию «Ста лет одиночества», пакет в 590 страниц, напечатанных на машинке с двойным интервалом на обычной бумаге, адресованный Франсиско Порруа, литературному редактору издательства «Судамерикана».

Почтовый служащий положил пакет на весы, подсчитал в уме и сказал:

— С вас восемьдесят два песо.

Мерседес сосчитала купюры и монеты, лежавшие у нее в сумке, и призналась:

— У нас только пятьдесят три.

Мы открыли пакет, разделили его на две равные части и отправили одну из них в Буэнос-Айрес, даже не задаваясь вопросом, как мы добудем денег, чтобы выслать остальное. Только позже мы поняли, что отправили не первую, а вторую часть. Но прежде чем мы нашли деньги, чтобы послать ее, Пако Порруа, наш человек в издательстве «Судамерикана», жаждущий прочесть первую часть, прислал нам денег, чтобы мы могли ее отправить.

Так мы смогли заново появиться на свет и оказаться в нашей сегодняшней жизни.

# **Заметки о выступлениях Г. Гарсиа Маркеса**

## **АКАДЕМИЯ ДОЛГА**

*Сипакира, Колумбия, 17 ноября 1944 г.*

Прощальная речь на выпускном вечере курса 1944 года, на год старше, чем его курс, по случаю окончания бакалавриата Национального мужского лицея Сипакиры. Благодаря стипендии Габриэль Гарсиа Маркес смог продолжить учебу в качестве интерна Национального мужского лицея Сипакиры.

## **КАК Я НАЧАЛ ПИСАТЬ**

*Каракас, Венесуэла, 3 мая 1970 г.*

Опубликована в газете «Атенео» Каракаса, затем перепечатана газетой «Эль Эспектадор» Боготы. Как пишет Хуан Карлос Сапата в своей статье «Габо родился в Каракасе, не в Аракатаке», журналист Николас Тринкадо появился на форуме, когда узнал, что в нем будет участвовать Габриэль Гарсиа Маркес, которого обнаружил там «худым, усатым, с зажженной сигарой». История, которую он рассказывает своей аудитории, предупредив, что «это идея, которую я проворачиваю в голове уже несколько лет», затем превратилась в кинематографический сценарий фильма «Предзнаменование», поставленный Луисом Алкориса в 1974 году.

## **РАДИ ВАС**

*Каракас, Венесуэла, 2 августа 1972 г.*

*При вручении II Международной премии Ромуло Гальегоса за роман «Сто лет одиночества»*

В театре Парижа. Члены жюри — Марио Варгас Льоса, Антониа Паласиос, Эмир Родригес Монегаль, Хосе Луис Кано и Доминго Милиани. Международная пресса выбрала в финал помимо победителя следующие романы: «Медитация», Хуан Бенет; «Три грустных тигра», Гильермо Кабрера Инфанте и «Когда хочется плакать, не плачу», Мигель Отеро Сильва.

## **ДРУГАЯ РОДИНА**

*Мехико, 22 октября 1982 г.*

*При вручении почетного ордена «Агила ацтека»*

В салоне Венустиано Карранса, Лос Пинос, в присутствии президента республики Хосе Лопеса Портильо и колумбийского министра иностранных дел Родриго Льоредо. В соответствии с протоколом министр иностранных дел Мексики Хорхе Кастаньеда и Альварес де ла Роса вручили орден Габриэлю Гарсиа Маркесу. Это самая высокая награда, которой удостоивает правительство Мексики иностранцев.

## **ОДИНОЧЕСТВО ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ**

*Стокгольм, Швеция, 8 декабря 1982 г.*

*Церемония вручения Нобелевской премии по литературе, присужденной Габриэлю Гарсиа Маркесу*

Концертный зал Стокгольма. Романист и шесть ученых — Кеннет Вильсон (физика), Аарон Клуг (химия), Суне Бергстрем, Бенгт Самуэльсон и Джон Р. Вансе (медицина), Джордж Ститглер (экономика) — получили из рук короля Швеции Карла Густава XVI и его жены Сильвии эту высокую награду. Помимо того что он стал центральной фигурой церемонии, Габриэль Гарсиа Маркес нарушил традицию всей истории Нобелевских премий, появившись в типичном карибском костюме, известном как ликилики, вместо строгого фрака.

## **ТОСТ ЗА ПОЭЗИЮ**

*Стокгольм, Швеция, 10 декабря 1982 г.*

*Во время банкета, устроенного королевской четой Швеции в честь лауреатов Нобелевской премии*

Торжественный ужин состоялся в Голубом зале Стокгольмской ратуши. В своей статье под названием «Везение не стоять в очередях», опубликованной 4 мая 1983 года и затем напечатанной в сборнике «Заметки для прессы. Журналистские труды. 5.1961–1984» Габриэль Гарсиа Маркес вспоминает: «Меня попросили подписать напечатанный бланк, подтверждавший, что я передаю Нобелевскому фонду свои авторские права на мое выступление и мой тост за поэзию, который в спешке последних часов я сымпровизировал в четыре руки с поэтом Альваро Мутисом, а

затем я подписал экземпляры моих книг на шведском языке для сотрудников Фонда».

### **СЛОВА ДЛЯ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ**

*Гавана, Куба, 29 ноября 1985 г.*

*II встреча интеллектуалов за суверенитет народов нашей Америки*

Главная речь на открытии встречи в Доме Америк. Присутствовали Фрей Бетто, Эрнесто Карденаль, Хуан Бош, Даниэль Виглиетти и Освальдо Сориано и еще триста интеллектуалов континента.

### **ДАМОКЛОВ КАТАКЛИЗМ**

*Икстапа-Сиуатанехо, Мехико, 6 августа 1986 г.*

*II встреча в верхах Группы шести*

Речь на открытии встречи Группы шести: Аргентина, Мексика, Танзания, Греция, Индия и Швеция, — посвященной миру и разоружению перед лицом ядерной угрозы. Присутствовали президенты стран-членов: Рауль Альфонсин, Аргентина; Мигель де ла Мадрид Уртадо, Мексика; премьер-министры: Андреас Папандреу, Греция; Ингвар Карлсон, Швеция; Раджив Ганди, Индия; Джулиус Ньерере, Танзания.

### **НЕПОБЕДИМАЯ ИДЕЯ**

*Куба, Гавана, 4 декабря 1986 г.*

*На открытии резиденции Фонда нового латиноамериканского кино*

В Фонде, расположенном в старинной вилле Санта-Барбара, в старом доме квартала Марианао, начала работать Международная школа кино, телевидения и видео (EICTV) Сан-Антонио-де-лос-Баньос, известная также как «Школа трех миров». Габриэль Гарсиа Маркес выступил в качестве президента Фонда.

### **ПРЕДИСЛОВИЕ К НОВОМУ ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ**

*Каракас, Венесуэла, 4 марта 1990 г.*

*Торжественное открытие выставки «Изображение и фантазия: 75 лет живописи в Латинской Америке, 1914–1989»*

Выставка проходила в Музее изобразительных искусств, ее курировал венесуэльский критик Роберто Гевара, координировала Милагрос

Мальдонадо. Речь Габриэля Гарсиа Маркеса была использована в качестве пролога для каталога выставки.

В ней участвовали: Антонио Баррера и Альваро Барриос из Колумбии; Хосе Бедиа из Кубы; Хуан Висенте Эрнандес, «Птица», из Венесуэлы; Панчо Килиси из Венесуэлы; Арнальдо Роче из Пуэрто-Рико; Антонио Хосе де Мелья Моурао, «Тунга», из Бразилии; Карлос Серпа из Венесуэлы.

### **МЕНЯ ЗДЕСЬ НЕТ**

*Гавана, Куба, 8 декабря 1992 г.*

*Торжественное открытие кинозала Фонда нового латиноамериканского кино*

Кинозал Глаубер Роша является частью культурного комплекса резиденции Фонда нового латиноамериканского кино. В этом зале, который сам по себе стал культурным центром, помимо показа фильмов, проходят национальные и международные семинары и конференции, театральные спектакли, танцевальные и камерные концерты.

### **В ЧЕСТЬ БЕЛИСАРИО БЕТАНКУРА ПО СЛУЧАЮ ЕГО СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЯ**

*Санта-Фе-де-Богота, Колумбия, 18 февраля 1993 г.*

Празднование состоялось в Доме поэзии Хосе Асунсьон Сильва. Приглашение отпраздновать семидесятилетие бывшего президента Колумбии, родившегося 4 февраля, подписали среди прочих Габриэль Гарсиа Маркес, Альваро Мутис, Альфонсо Лопес Микельсен, Херман Арсиниегас, Херман Эспиноса, Абелардо Фореро Бенавидес, Эрнандо Валенсия Гоэлькель, Рафаэль Гутиэррес Жирардо, Антонио Кабальеро, Дарио Харамильо Агудело и Мария Мерседес Карранса, директор Дома поэзии Хосе Асунсьон Сильва.

### **МОЙ ДРУГ МУТИС**

*Санта-Фе-де-Богота, Колумбия, 25 августа 1993 г.*

*Семидесятилетие Альваро Мутиса*

Произнесена Габриэлем Гарсиа Маркесом перед своим другом Альваро Мутисом и гостями на торжественном ужине в честь его 70-летия в Доме Нариньо в Боготе — резиденции президента Колумбии, где правительство президента Сесара Гавирии вручило ему Крест Бояки. 26

ноября 2006 года в рамках XXI книжной ярмарки в Гвадалахаре, посвященной Колумбии, также были возданы почести Альваро Мутису, а бывший президент Колумбии Белисарио Бетанкур прочел «с разрешения Гарсиа Маркеса», сидя рядом с ним, этот текст.

### **АРГЕНТИНЕЦ, СТАВШИЙ ВСЕОБЩЕЙ ЛЮБОВЬЮ**

*Мехико, 12 февраля 1994 г.*

Во дворце изобразительных искусств г. Мехико. Эта речь, первоначально опубликованная как статья 22 февраля 1984 года, через несколько дней после смерти Хулио Кортасара, стала данью уважения ему десять лет спустя. Тот же текст будет прочитан на торжественном открытии коллоквиума «Заново открытый Хулио Кортасар» 14 февраля 2004 года в Гвадалахаре, штат Халиско, на праздновании, устроенном кафедрой Хулио Кортасара Университета Гвадалахары, под председательством Гарсиа Маркеса и Карлоса Фуэнтеса, через двадцать лет после смерти аргентинского писателя.

### **ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА СУЩЕСТВУЕТ**

*Контадора, Панама, 28 марта 1995 г.*

*Семинар группы «Контадора» на тему «Существует ли Латинская Америка?»*

Присутствовали: бывший президент Уругвая Луис Альберто Лакалье — основной докладчик, участники: Федерико Майор Сарагоса, Габриэль Гарсиа Маркес (последний оратор на встрече), Мигель де ла Мадрид Уртадо (бывший президент Мексики), Серхио Рамирес (бывший вице-президент Никарагуа), Франсиско Уэффорт (министр культуры Бразилии) и Аугусто Рамирес Окампо (бывший министр иностранных дел Колумбии).

В контексте кризиса, охватившего Центральную Америку, 9 января 1983 года была создана группа «Контадора» с целью способствовать установлению мира и демократии в регионе. Ее первыми членами стали Колумбия, Мексика, Панама и Венесуэла. Группа получила свое название от панамского острова, где собрались министры иностранных дел этих стран для ее создания.

### **ИНАЯ СУЩНОСТЬ В ИНОМ МИРЕ**

*Санта-Фе-де-Богота, Колумбия, 12 апреля 1996 г.*

*Кафедра Колумбии*

Вооруженные силы Колумбии официально открыли программу, названную «Кафедра Колумбии», на конференции «Правовое государство и силы порядка» под руководством тогдашнего колумбийского министра национальной обороны Хуана Карлоса Эсгерра Портокарреро.

В рамках академической программы перед военными слушателями выступили Габриэль Гарсиа Маркес, Родриго Пардо Гарсиа, прокурор Альфонсо Вальдивieso Сармьенто, историк Херман Арсиниегас, бывшие министры Хуан Мануэль Сантос и Рудольф Хоммес, а также Орландо Фальс Борда, бывший законодатель, и писатель Густаво Альварес Гардеасабаль.

### **ЖУРНАЛИСТИКА — ЛУЧШАЯ В МИРЕ ПРОФЕССИЯ**

*Лос-Анджелес, США, 7 октября 1996 г.*

*II конференция Межамериканского общества прессы (МОП), резиденция в Майами, Флорида*

Торжественная речь на открытии, произнесенная Габриэлем Гарсиа Маркесом в качестве президента Фонда новой иберийско-американской журналистики.

### **БУТЫЛКУ — В МОРЕ, ДЛЯ БОГА СЛОВ**

*Сакатекас, Мексика, 7 апреля 1997 г.*

*I Международный конгресс испанского языка*

Лауреат Нобелевской премии по литературе, чествуемый конгрессом, выступил на его торжественном открытии, вызвав потрясающую полемику, призвав к отмене орфографии.

### **ИЛЛЮЗИИ ДЛЯ XXI ВЕКА**

*Париж, Франция, 8 марта 1999 г.*

*Семинар «Латинская Америка и Карибский бассейн перед вызовами нового тысячелетия»*

Межамериканский банк развития и ЮНЕСКО организовали этот семинар в Париже 8–9 марта. Габриэль Гарсиа Маркес, специально приглашенный на дискуссию, произнес эту краткую речь на его торжественном открытии.



## **ЛЮБИМАЯ, ХОТЯ И ДАЛЕКАЯ РОДИНА**

*Медельин, Колумбия, 18 мая 2003 г.*

*Международный симпозиум «К новому общественному договору в науке и технологии в целях социально сбалансированного развития»*

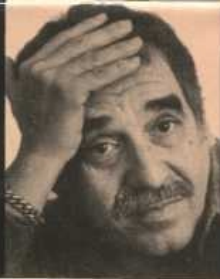
На юбилейном собрании в честь двухсотлетия Университета Антиокии этот текст был записан; запись с голосом Габриэля Гарсиа Маркеса была отправлена в Медельин и прочтена в шесть часов вечера на торжественном открытии симпозиума в театре Камило Торреса.

## **ДУША, ОТКРЫТАЯ РЕЧАМ НА ИСПАНСКОМ**

*Картахена-де-Индиас, Колумбия, 26 марта 2007 г.*

*Перед Королевскими академиями испанского языка*

В Центре конгрессов Картахены, во время открытия IV Международного конгресса языка, в честь Габриэля Гарсиа Маркеса, которому 6 марта исполнилось восемьдесят лет. Одновременно было отмечено сорокалетие публикации «Ста лет одиночества» юбилейным изданием, а также двадцатипятилетие присуждения Нобелевской премии.



# Габриэль Гарсиа Маркес

Я здесь не для того, чтобы говорить речи

Габриэль Гарсиа Маркес НЕ УМЕЕТ произносить речи — и предупреждает об этом читателя.

Видимо, именно поэтому каждая речь великого колумбийца превращается в произведение искусства, где автобиография смешивается с фантазией, а философия — с публицистикой.

«Я здесь не для того, чтобы говорить речи» — название этой книги говорит само за себя.

Перед читателем — нечто, совершенно противоположное самой идее обращения к аудитории. Очень интимное, личное и завораживающее.

Итак: Габриэль Гарсиа Маркес — о времени, искусстве и о себе.

ISBN 978-5-271-45849-1



9 785271 458491

**Внимание!**

**Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.**

**После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.**

**Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.**

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](http://Royallib.com)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

---

notes
-------

## **Примечания**

**1**

Имеется в виду Нобелевская премия по литературе. — *Примеч. пер.*